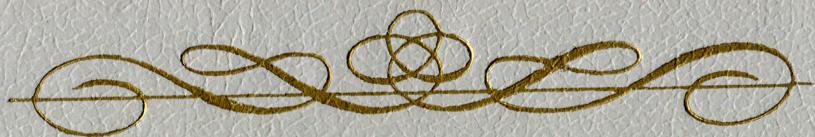


*С. В. БЕЛОВ*



**ФЕДОР  
МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ**





— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

(In nomine Amen)

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40

— Я, о грешный сын 60<sup>л</sup>, сшил (или) а  
 блудъ мѣста 40



ЧТО ПОТЕРЯЛ ВРЕМЯ;  
 Я ЗАНИМАЮСЬ ЭТОЙ ТАЙНОЙ,  
 ИБО ХОЧУ БЫТЬ  
 ЧЕЛОВЕКОМ.

Ф. М. Достоевский



С. В. БЕЛОВ



**ФЕДОР  
МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ**



*Книга  
для учителя*



МОСКВА  
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  
1990

ББК 83.3Р1  
Б43

Научный редактор —  
доктор философских наук  
*Э Ф ВОЛОДИН*

**Белов С. В.**

Б43 Федор Михайлович Достоевский: Кн. для учителя. —  
М.: Просвещение, 1990. — 207 с., 0,25 л. ил. —  
ISBN 5-09-001937-1.

Автор повествует о жизненном пути великого писателя, раскрывает его творческую и духовную эволюцию на материале художественного творчества, воспоминаний, дневников, эпистолярного наследия. Достоевский показан во всей сложности его отношений с представителями различных общественных сил России, писателями, близкими людьми. Книга поможет учителю не только яснее представить жизненный путь писателя, но и глубже понять его художественные произведения

Б  $\frac{4306010000-721}{103(03)-90}$  102—90

ББК 83.3Р1

ISBN 5-09-001937-1

© Белов С В, 1990

## *О книге С. В. Белова*

Трудно и благодатно постижение творческого наследия Ф. М. Достоевского, гениального писателя, и — это становится все более ясным — пророка России. Он не только проникал в суть современной ему действительности, но был способен увидеть, что прорастает из нее в будущее, какие трагедии могут произойти из случайных, второстепенных событий, иногда удостоенных всего лишь беглого взгляда участников или случайных созерцателей зарождающейся всемирно-исторической драмы.

О судьбе писателя, его мировоззрении и творчестве говорится в предлагаемой читателю книге С. В. Белова. Она обращена к учителю, следовательно, предполагает и возможное использование ее материала в работе со школьниками. Потому и соединяется в ней высокий профессионализм ученого с ясностью и, добавлю, искренностью рассказа о великом русском писателе.

В ряде случаев научность и искренность идут дальше все еще присутствующего в методических разработках социологизаторства или «причесывания» художественного мира и идей Ф. М. Достоевского и, будем надеяться, помогут преодолению того и другого. На двух примерах покажу, как трудно избавляться от стереотипов.

Известно то, что из Сибири Ф. М. Достоевский вернулся глубоко верующим человеком, так же как и то, что именно на этом этапе жизненного пути он являет себя сторонником существующего правопорядка. В давние и недалекие годы этого было достаточно, чтобы давать разной степени черноты оценки его мировоззрения и идейного содержания его произведений. Но если избавиться от идеологических штампов, то все выглядит совсем не

так просто, как выстраивалось в директивных определениях вульгарных социологов.

По графе мракобесия трудно расписать Льва Мышкина, Алешу Карамазова и весь ряд светлых образов женщин, исповедовавших всепрощение, преданность, искупительную доброту. Да и глубочайшая «Легенда о Великом Инквизиторе» не могла быть написана не знающим азов науки идеологическим ретроградом.

Столь же сложно обстоит дело и с политическими предпочтениями писателя. Ура-патриотизму трудно ужиться с «Униженными и оскорбленными», да и разящая критика правительственного аппарата в «Бесах» совсем не соответствует позиции верноподданного. И Пушкинская речь 1880 года не вписывается в концепцию национализма, в которую тоже пытались втиснуть идейное богатство творений Ф. М. Достоевского.

Весь этот сложный спектр проблем и поднят в книге С. В. Белова. Будем надеяться, что его работа поможет учителю глубже понять прозу, публицистику и эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского, а это уже само по себе важное дело для воспитания в добре и преданности Отечеству и всечеловеческого единения (выражение Ф. М. Достоевского) нашей молодежи — нашего будущего.

**Э. Ф. ВОЛОДИН**



Посвящается, дочери Ане.

*Автор*

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.

*Ф. М. Достоевский*

Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказывал, недостойно называться человеческим.

Английский поэт *У. Оден*

## *Введение*

Весь XX век проходит под знаком все возрастающей славы Федора Михайловича Достоевского. В истории мировой литературы очень редко встречаются примеры, когда влияние умершего писателя не только не ослабевает, а, наоборот, все больше и больше усиливается. И в этом смысле Достоевский — единственный, пожалуй, писатель, творчество которого с каждым годом становится все более всеобъемлющим и всепроникающим. Словно сказочная птица, каждый раз возрождается заново великий русский писатель, чтобы будить в новых поколениях нравственные идеалы правды, добра и справедливости.

Настоящее чтение Достоевского — всегда огромное событие в жизни, оно потрясает душу, дает возможность прикоснуться к совершенно иным мирам и иным измерениям, заставляет задуматься над самыми главными вопросами существования человека.

Проблемы, которые волновали и мучили Достоевского, — это вековые, старые, как мир, и новые, как завтрашний день, вопросы человека о мире, вопросы о счастье и смысле жизни. Ставя и разрешая задачи общечеловеческого характера и значения, Достоевский ведет нас к познанию жизни своим особым путем, мучительно выстраданным и всесторонне продуманным.

Чаще всего счастье и смысл жизни, по Достоевскому, достигаются путем страданий. Но они не самоцель. Это духовный путь человека, пытающегося найти свое место в несправедливо устроенном мире. Они, по мысли Достоевского, дают человеку ключ к сочувственному пониманию чужих страданий, чужого горя, делают его нравственно более чутким и жизненно более опытным и закаленным. Именно таким станет одиннадцатилетний мальчик из раннего произведения Достоевского «Маленький герой», нежную отроческую душу которого невольно ранил сложный и противоречивый мир взрослых. Это и было его «первое сознание и откровение сердца, первое еще неясное прозрение» его «природы». «Первое детство» его «кончилось с этим мгновением»\*. Он научился страдать.

В связи с излюбленной идеей Достоевского о благотворном значении страданий необходимо отметить необыкновенно глубокую, всеохватывающую мысль его о виновности и ответственности каждого перед всеми и всех перед каждым, мысль, положенную в основу повести еще молодого Достоевского «Слабое сердце», а затем ставшую доминирующей во всех его романах.

Человек не имеет права замыкаться в себе, жить лишь для себя, человек не имеет права проходить мимо несчастий, царящих в мире, неустанно повторял Достоевский. Человек ответственен не только за собственные поступки, но и за всякое зло, совершающееся в мире.

Достоевский — бесконечно искренний и гуманный писатель. Он учил искать искру добра в каждом человеке, старался воспитать человека. «При полном реализме найти в человеке человека» — так определял сам Достоевский сущность своего гения, его высокую гуманистическую устремленность. Недаром многие из тех, кто испытывал в жизни минуты отчаяния, находили в произведениях Достоевского поддержку и выход. Они извлекали надежду из глубочайшей веры писателя в человека.

Читать Достоевского — это хотя и сладостная, но совсем не легкая работа, так как его произведения дают неизмеримо много для мысли и души. По богатству и разнообразию мысли трудно найти писателя, равного Достоевскому. Но надо быть предельно внимательным при чтении его произведений, чтобы понять его самые дорогие заветы и стремления.

---

\* Цитаты из художественных и публицистических произведений Достоевского приводятся по Полному собранию сочинений писателя в 30 томах (1972—1988), а письма — по четырехтомному Собранию писем (1928—1959)

«Я никогда не мог понять мысли,— писал Достоевский в 1876 году,— что одна десятая доля людей должна получить высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было... Я не знаю, как все это будет, но это сбудется».

В 1839 году восемнадцатилетний юноша Достоевский писал брату: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Достоевский предчувствовал свое призвание. Всю жизнь он боролся за духовную природу человека, защищал его достоинство, личность и свободу.

Достоевский принадлежит к тем писателям, биография которых тесно связана с творчеством, к тем писателям, которые смогли раскрыть себя в своих художественных произведениях. Вот почему ему удавалось так глубоко проникать в загадку человека. Разгадывая ее, Достоевский разгадывает тайну собственной личности, и, наоборот, свою судьбу он проецирует на судьбу своих героев. И как по романам Достоевского можно изучать их создателя, так и свою жизнь, собственный духовный опыт он вкладывает в свои романы.

Нравственная самооценка, которая всегда была неотъемлемым качеством самого Достоевского и его героев, является тем прочным фундаментом, на котором стоит духовный облик писателя, и особенность его гения как раз и заключается в том, что, сопрягая свое творчество с собственной судьбой и свою судьбу с собственным творчеством, он соотносил их с судьбами России и мира.

Но в биографических вехах Достоевского есть такие важные точки отсчета, такие события, которые сыграли решающую роль в его жизненном и творческом пути. В молодости он «страстно» принимает атеистическое мировоззрение В. Г. Белинского и вступает в тайное революционное общество наиболее активных из петрашевцев («дуровцев»), решивших завести тайную типографию.

22 декабря 1849 года, приговоренный к смертной казни,

Достоевский стоит на эшафоте. В эти страшные минуты в нем начинается умирать «старый человек». Четыре года Достоевский читает на каторге одну книгу — Евангелие — единственную книгу, разрешенную в остроге. Постепенно рождается «новый человек», начинается «перерождение убеждений».

Достоевский ушел на каторгу революционером и атеистом, а вернулся монархистом и верующим человеком. Реальные противоречия между монархизмом и пореформенной русской действительностью писатель пытается снять через земское представительство и соборность как принцип нравственно-религиозной организации общества. Как показала «Легенда о Великом Инквизиторе» в «Братьях Карамазовых», Достоевский не ставил знака равенства между христианством и государственностью. В этой интерпретации монархизма самим Достоевским сказались мечта бывшего петрашевца о «золотом веке», о земном рае, о братстве всех людей. Но эту мечту после каторги и ссылки писатель всегда связывает с христианской верой, которая была им так всесторонне выстрадана, что в конце жизни он записывает по поводу последнего романа «Братья Карамазовы»: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было, стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...»

После каторги религиозная тема является центральной в творчестве Достоевского. В 1870 году он писал своему другу, поэту А. Н. Майкову: «Главный вопрос... которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование божие».

Но страшная каторга, ужасы «Мертвого дома» неизбежно обостряли идею бунта и мечту Достоевского о счастье людей. Бунт и мечта писателя питались и русской действительностью после отмены крепостного права.

Все великие романы Достоевского были написаны в пореформенной России. Множество фактов из окружающей жизни воспринимались Достоевским как зловещие признаки жуткой болезни, охватившей все слои общества, после того как «все в России переверотилось».

Вместе с социально-экономической основой старого феодально-крепостнического строя стали быстро разрушаться и все нравственные устои. Рушилось старое патриархальное «благообразие», капитализм принес распад, «беспорядок» (в черновых записях роман Достоевского «Подросток» назван «Беспорядком»), и в первую очередь распад вековых семейных устоев.

Все заразились «бесом национального богатства», тлетворным влиянием капиталистического мира, где «человек может быть самым обыкновенным, деньги дадут ему все, то есть власть и право презрения». *«Разложение — главная мысль романа»*, — формулировал Достоевский свою задачу в одной из ранних записей к «Подростку».

Но Достоевский был, пожалуй, единственным писателем в 60—70-е годы XIX века, кто воспринимал страшную эпоху надвигающегося капитализма как эпоху кризиса христианской культуры, умирания христианской веры. «Я плакал, — признается герой романа «Подросток» Версиков, — за них плакал, плакал по старой идее и, может быть, плакал настоящими слезами». И эту свою личную боль, свои слезы по умирающему христианству Достоевский возводил в степень трагедии всего современного ему человечества, а эту трагедию воспринимал как свою личную боль.

Религиозный кризис в сознании Достоевского ассоциировался с грядущими грандиозными общественными и социальными потрясениями. Но, пройдя эшафот и каторгу, то есть круги человеческого ада, которые Данте и не снились даже, Достоевский всегда верил в то, что «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». 16 апреля 1864 года, на следующий день после смерти своей первой жены, Достоевский делает поразительное признание: «Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье».

Достоевского не поняли при жизни, мучившие его проблемы и вопросы оказались недоступны современникам, а его глобальные пророчества казались плодом болезненного воображения. И в этом смысле Достоевский, действительно, прожил как непонятый и одинокий гений. Он мог бы повторить вслед за Раскольниковым, что «истинно великие люди должны ощущать на свете великую грусть».

Но одиночество гения Достоевский преодолевал в творческом акте. Его биография и художественные произведения составляют единое целое. Он всегда «жил в литературе», без литературы он никогда не мыслил своего существования, художественное творчество было главным смыслом его существования, а само существование мыслилось им всегда как творческий акт. Поэтому подлинная биография Достоевского это и есть духовное единство его жизни и творчества, их взаимное сопряжение. И предлагаемая сейчас вниманию читателей книга — это духовная биография.



**ДЕТСТВО  
И ЮНОСТЬ**

•

Достоевские происходили из старинного дворянского рода, представители которого с XVI века упоминаются в различных документах юго-западной Руси. В 1506 году им была пожалована грамота на село Достоево в Пинском повете между реками Пиной и Яцольдой, после чего эти служилые люди стали именоваться по своей земельной вотчине Достоевскими. Представители этого рода считали даже, что он восходил к Золотой Орде (от Аслана Челебимурзы, выехавшего около 1389 года из Золотой Орды на службу к великому князю московскому), однако ни знатностью, ни богатством они похвастаться не могли, хотя в XVI веке служебным шляхтичем при знаменитом русском князе-эмигранте Андрее Курбском, который из Литвы посылал свои послания Ивану Грозному, был Федор Достоевский (отсюда семейная традиция давать имя Андрей в честь Андрея Курбского).

Дед писателя Андрей Достоевский занимал довольно скромную должность протоиерея в маленьком провинциальном городке Подольской губернии Брацлаве, так как к XVIII веку род Достоевских, не принявший католичества, был вытеснен из рядов западного дворянства и, переселившись на Украину, постепенно захудал и обеднел.

Из многочисленных детей деда Достоевского лишь один младший сын Михаил (отец писателя) решился порвать с традиционным семейным укладом и образованием и построить свою биографию как типичный разночинец. В 1809 году двадцатилетний Михаил Андреевич Достоевский бросает учебу в Подольской семинарии и уходит из родительского дома в Москву, где поступает в Медико-хирургическую академию. Во время Отечественной войны 1812 года он принимал участие в военных действиях, в мирное время служил врачом в Бородинском пехотном полку и в Московском военном госпитале, а в 1821 году, выйдя в отставку, был определен «на вакансию лекаря» в Мариинскую больницу для бедных Московского воспитательного дома.

В 1819 году М. А. Достоевский женился на девятнадца-

тилетней дочери московского купца Федора Тимофеевича Нечаева, Марии Федоровне (мать писателя). На Машу Нечаеву большое культурное влияние оказывала разночинная интеллигентная среда ее матери Варвары Михайловны Котельницкой, отец которой служил корректором в Московской духовной типографии еще во времена знаменитого Новикова. Во всяком случае Мария Федоровна была не чужда поэзии, любила музыку, да и сама была достаточно музыкальна, зачитывалась романами. Она была умна и энергична, любила своего мужа настоящей, горячей и глубокой любовью. Ее письма к нему дышат и наивной преданностью, и большим поэтическим настроением и отличаются тем литературным даром, который потом перешел к детям. Мягкая, добрая и нежная, Мария Федоровна в то же время отличалась практичностью и сметливостью, в ведении хозяйства Михаил Андреевич мог всегда на нее положиться.

30 октября (11 ноября) 1821 года в правом флигеле Мариинской больницы для бедных, отведенном под казенные квартиры, в семье врача М. А. Достоевского родился второй сын, Федор. (Автор «Бедных людей» — так называлось первое произведение Достоевского — родился в больнице для бедных; тема униженных и оскорбленных пройдет через все творчество писателя.)

Через два года после рождения Достоевского семья переселилась в левый флигель Мариинской больницы, где и прошло все детство Феди с двухлетнего возраста. Младший брат писателя Андрей Михайлович Достоевский вспоминает: «Отец наш... занимал квартиру, состоящую, собственно, из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась передняя в одно окно (на чистый двор) В задней части этой довольно глубокой передней отделялось помощью досчатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал — довольно поместительная комната о двух окнах на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира!»<sup>1</sup>.

Большая семья московского лекаря больницы для бедных (семь детей — четыре брата и три сестры) была совсем не богата, а лишь очень скромно обеспечена самым необходимым и никогда не позволяла себе никаких роскошеств и излишеств. Отец писателя, строгий и требовательный к себе, был еще строже и требовательнее к другим, и

прежде всего к своим детям. Он был добрым, прекрасным семьянином, гуманным и просвещенным человеком.

Михаил Андреевич Достоевский очень любил своих детей и умел их воспитывать. Своим восторженным идеализмом и стремлением к прекрасному писатель больше всего обязан своему отцу и домашнему воспитанию. И когда его старший брат Михаил писал уже юношей отцу: «Пусть у меня все возьмут, все, и разденут догола, но пусть мне дадут Шиллера, и я забуду все на свете!», — он знал, конечно, что отец поймет его. Но ведь эти слова мог бы написать отцу и Федор Достоевский, вместе со старшим братом бредивший в юности Шиллером, мечтавший обо всем возвышенном и прекрасном.

Этими же словами можно охарактеризовать и всю семью Достоевских, из которой вышел писатель. Отец не только никогда не применял к детям телесного наказания, хотя главным средством воспитания в его время были розги, но и не ставил их на колени в угол и, при ограниченных средствах, все же не отдавал своих детей в гимназию только по той причине, что там учеников пороли.

У маленького Феди Достоевского была любовь: маленькая, хрупкая, почти прозрачная девочка, чья девятилетняя жизнь была оборвана жутко и грязно. Достоевский запомнил ее на всю жизнь как первую наставницу в том, как надо глядеть на мир. «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветок!» — говорила она<sup>2</sup>. Отныне и до конца своих дней Достоевский отождествляет красоту с добром, а его любимый герой князь Мышкин в романе «Идиот» проповедует: «Красота спасет мир».

Жизнь семьи Достоевских была полная, с нежной, любящей и любимой матерью (ею навеяны образы кротких женщин в творчестве Достоевского), с заботливым и требовательным (иногда и излишне требовательным) отцом, с любящей няней Аленой Фроловной, рассказывающей интересные сказки, с самым большим другом — старшим братом Мишей. Была детская — со своим особым богатым детским миром. И все же гораздо важнее не то, какую фактически была обстановка в Мариинской больнице, а как она запомнилась на всю жизнь. Вторая жена Ф. М. Достоевского, Анна Григорьевна, говорила, что ее муж любил вспоминать о своем «счастливом и безмятежном детстве», и действительно все его высказывания говорят о настоящем, хорошем детстве, воспитавшем в нем человека-писателя. Вот как, например, Достоевский впоследствии в разговорах с младшим братом отзывался о своих родителях: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоя-



щую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..»<sup>3</sup>

В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский писал «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным».

Отец по вечерам читал вслух Карамзина и заставлял детей читать не только Карамзина, но и Жуковского, и молодого поэта Пушкина. И если Достоевский в 16 лет пережил смерть поэта как великое русское горе, то кому он этим обязан, как не своей семье, и прежде всего отцу, рано привившему ему любовь к литературе. Именно в детстве следует искать истоки преклонения перед гением Пушкина, которое Достоевский пронес через всю жизнь. И вдохновенное, пророческое слово о нем, сказанное Достоевским за полгода до смерти, в июне 1880 года, на открытии памятника Пушкину в Москве, корнями уходит в детство писателя.

Достоевский на всю жизнь сохранил хорошую память о своем детстве, однако еще важнее, как эта память отразилась в его творчестве. За три года до смерти, начав создавать свой последний гениальный роман «Братья Карамазовы», Достоевский вложил в биографию старца Зосимы отголоски собственных впечатлений: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал узнать. Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками, под названием «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю».

Это черта подлинно автобиографическая. Достоевский действительно учился читать по этой книге, и когда лет за десять до смерти он достал точно такую же книгу, то очень обрадовался и сохранял ее как реликвию.

И Достоевский вкладывает в биографию старца Зосимы одно свое драгоценное воспоминание, вынесенное «из дома родительского»: «Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет отроду. Повела матушка меня одного (не помню, где был тогда брат) во храм господень, в страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз отроду принял я тогда в душу первое семя слова божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такой большою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме божием читают». (Этот отрывок показывает, что детские религиозные впечатления Достоевского были больше эстетическими, чем религиозными, поэтому детская вера оказалась непрочной, и он впоследствии принял атеистическое учение Белинского.)

Последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» кончается речью Алеши Карамазова у камня после похорон мальчишка Илюшечки, обращенной к его товарищам-школьникам: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорили про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение».

Достоевский вынес много хороших впечатлений из детства, но одно из них приобрело значение символа веры в русский народ. Когда Достоевскому было девять лет, родители приобрели небольшое имение — две маленькие деревеньки Даровое и Черемошня близ Зарайска в Тульской губернии, и с тех пор дети с матерью проводили летние месяцы в деревне. Мальчик Достоевский видел жизнь трудового русского крестьянина. Как-то в августовский день он блуждал в густом кустарнике и вдруг услышал (или ему почудилось) страшный крик: «Волк бежит!» Он со всех ног бро-

сился из леса и оказался на поляне, где мужик Марей пахал землю. Федя Достоевский бросился к нему и схватил его за рукав, дрожа всем телом и повторяя одно и то же «Волк бежит!» Мужик Марей стал ласкать его и успокаивать: «Что ты, что ты, какой волк, померещилось.. Христос с тобой, октись... Уж я тебя волку не дам!» И мужик Марей перекрестил дрожащего мальчика.

Это воспоминание на всю жизнь сохранилось в Достоевском. «Уж я тебя волку не дам»,— он всегда верил, что простой русский народ не «даст его волку», защитит и не обманет его веры в Россию.

Родители рано начали обучать его, и с ним, как и с другими детьми, занимались мать и дьякон. Затем он в 1833 году вместе с другом-братом Михаилом стал ежедневно ездить в полупансион к французу Сушарду (быт этого заведения изображен в романе «Подросток»), но продолжал жить в семье (к Сушарду ездили по утрам и возвращались к обеду), которая заботилась о его воспитании и продолжала заботиться и тогда, когда (в 1834 году) тринадцатилетнего мальчика отдали в частный пансион Леонтия Ивановича Чермака,— и тогда Достоевский со своим братом Михаилом проводили каждую субботу и воскресенье дома, да и в самом пансионе он продолжал жить теми же интересами, которые в нем воспитали его родители. Он много читал, прочел Шиллера, В. Скотта, Державина, Жуковского, Пушкина, Нарежного, Вельтмана, Загоскина, Гоголя, Лермонтова— это была настоящая страсть к чтению,— но не сблизился с товарищами и дружил только со своим верным другом — братом Михаилом.

Последний год пребывания в пансионе был трудным для юноши Достоевского: 29 января 1837 года умер Пушкин, 27 февраля он лишился своей любящей и самоотверженной матери. Достоевский узнал о смерти Пушкина через месяц после смерти матери. Кончину Пушкина он пережил как большое национальное и личное горе (хотя ни разу и не видел поэта). Достоевский говорил брату, что если бы он не носил уже траура по матери, то попросил бы у отца разрешения носить траур по Пушкину и, конечно, отец дал бы ему это разрешение.

После смерти от чахотки тридцатисемилетней Марии Федоровны Достоевской на руках мужа осталось семеро детей. Потеря жены потрясла и сломила Михаила Андреевича Достоевского. Еще не старый, сорокавосемилетний, ссылаясь на трясение правой руки и ухудшавшееся зрение, он отказывается от предложенного ему наконец повышения по службе со значительным окладом. Он вынужден подать в

отставку, не выслужив двадцатипятилетия, и оставить квартиру при больнице (своего дома в Москве у них не было). Тогда же, как-то вдруг, осознается материальный кризис семьи, дело не просто в бедности — предвидится разорение. Одно их небольшое имение, более ценное, заложено и перезаложено, теперь идет в залог и другое — совсем ничтожное. А отцу предстояло поставить на ноги и вывести в люди семерых.

Родители давно задумывались о будущем старших сыновей. Они знали о литературных увлечениях Федора и Михаила и всемерно поощряли их. Собирались было поместить их в Университетский благородный пансион, который был ступенью для поступления в университет. Теперь братья учились у Л. Чермака — в одном из лучших пансионов Москвы, славившемся «литературным уклоном». После его окончания Достоевские должны были бы поступить в Московский университет, однако смерть матери и материальная нужда изменили эти планы.

Университет давал образование, но не положение. Для сыновей бедного дворянина был выбран иной путь. Михаил Андреевич Достоевский решил определить Михаила и Федора в Главное инженерное училище в Петербурге.

В военное заведение, состоявшее под управлением великого князя Михаила Павловича, ежегодно принималось «по штату» (на полное содержание от казны) 96 кондукторов (так назывались воспитанники младших классов). За поступивших же сверх штата вносилось единовременно 800 рублей. По существовавшей форме желавший поступить адресовал прошение свое, с указанием чина отца, непосредственно императору — шефу училища.

Сыновей было двое, это осложняло дело, и М. А. Достоевский решается хлопотать по начальству, пишет прошение на высочайшее имя, униженно отмечая: «по многочисленному семейству моему и бедному состоянию». И хотя император начертал: «Оба приняты быть могут», однако царское обещание исполнено не было. Из двух сыновей М. А. Достоевского примут лишь одного Федора и не «по штату», а с внесением единовременной суммы. Федор напишет отцу: «Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно».

С отцом Федор больше не увидится: Через два года придет письмо о близящемся разорении, а за письмом — известие о безвременной кончине отца. Федор напишет Михаилу: «Теперь состояние наше еще ужаснее... есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер?»

Прожив пятнадцать с половиной лет в Москве, в казенной квартире отца, врача московской Мариинской больницы для бедных, Федор Достоевский вместе со старшим братом Михаилом был отведен в мае 1837 года в Петербург и помещен в пансион К. Ф. Костомарова на Лиговском проспекте, 17, для подготовки к поступлению в Главное инженерное училище.

Через сорок лет Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» о своей первой поездке в Петербург: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем „прекрасном и высоком“,— тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходиться на место поединка и пробраться на бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».

В этой поездке в Петербург мечтатель и романтик, каким был тогда Достоевский, на станции в Тверской губернии впервые столкнулся со страшной русской действительностью. «Ямщик тронул, но не успел он и тронуть,— вспоминает Достоевский в том же «Дневнике писателя»,— как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и, наконец, нахлестал их до того, что они неслись как угорелые... Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря, и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять уже, конечно, слишком односторонне...»

Кляча, умирающая под ударами Миколки в сне Раскольникова в романе «Преступление и наказание», весь этот

образ жестокости и мучительства — воспоминания о фельдъегере 1837 года

16 января 1838 года Федор Достоевский был зачислен в училище и перебрался в Инженерный замок, в котором оно располагалось. Михаилу было отказано в приеме по состоянию здоровья, и он поступил на службу по прошению в С.-Петербургскую инженерную команду, но через три месяца, в апреле, был откомандирован в Ревельскую инженерную команду. Братья расстались.

Инженерное училище в Петербурге, куда поступил Достоевский, помещалось в Михайловском замке — бывшем дворце Павла I, где он был убит. Юный Достоевский вдруг остался совершенно один, без всякой поддержки и опоры в мрачном Михайловском замке. Впервые он оказался лицом к лицу с враждебной ему действительностью. Эта действительность глубоко разочаровала будущего писателя. Достоевский старался уйти в мир Пушкина, Шиллера, Корнеля, но скучал о своем друге — старшем брате Михаиле и беспокоился о своем отце, опускавшемся после смерти жены. «Мне жаль бедного отца, — писал он брату. — Станный характер. Ах, сколько несчастий перенес он. Горько до слез, что нечем его утешить».

В письмах друг к другу братья делятся впечатлениями о прочитанном, своими литературными опытами и планами, философствуют о назначении искусства. Письма Достоевского к брату Михаилу поражают удивительным проникновением в самое сокровенное великих писателей, он — гениальный читатель, он обладает поразительной склонностью к сотворчеству с классиками. «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный богом и к нам посланный), — пишет Достоевский брату, — может быть параллелью только Христу, а не Гете... Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни (совершенно в такой силе, как Христос новому)... Виктор Гюго, как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, — и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. (Только Гомер похож на Гюго.)»

В письмах Достоевского часто говорится о гениях мировой литературы, о каждом из них он может сказать свое слово, но всегда оно будет трепетным преклонением перед художественным творчеством как величайшим чудом. «У Расина нет поэзии? — спрашивает возмущенный Достоевский брата. — У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это

можно спрашивать? Теперь о Корнеле... Да знаешь ли ты, что он по гигантским характеристам, духу романтизма — почти Шекспир... Пади в прах перед Корнелем».

Через сорок лет, в Пушкинской речи, в своем завещании за полгода до смерти, Достоевский, размышляя о всемирной отзывчивости русского человека, говорил: «Мы... дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе...» Истоки этих замечательных слов — в юности Достоевского.

Но среди «гениев чужих наций» у воспитанника Инженерного училища было три верных спутника, любовь к которым он сохранил на всю жизнь: Сервантес, Шиллер и Бальзак. «Рыцарь бедный», герой романа «Идиот» Лев Николаевич Мышкин сопоставим с благородным рыцарем печального образа Дон Кихотом; герой последнего романа Достоевского, «Братья Карамазовы», Дмитрий Карамазов цитирует Шиллера; первая литературная работа двадцатитрехлетнего Достоевского — перевод «Евгении Гранде» Бальзака.

«Бальзак велик,— пишет семнадцатилетний Достоевский брату.— Его характеры — произведения ума вселенной. Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борениями своими такую развязку в душе человека» (курсив мой.— С. Б.). Так постепенно, в восторженной смене литературных впечатлений и в лихорадочном, хаотичном чтении классиков мировой литературы, молодой Достоевский находит сокровенную тему своего будущего творчества: *человек*, его природа, его назначение, смысл его жизни, его душа. В одном из писем брату есть такие слова: «Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой изящной духовности вышла сатира... Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»

Федор и Михаил Достоевские страстно мечтают о встрече: даже самые сокровенные письма не могут передать всех порывов души и сердца. В 1843, 1845 и в 1846 годах Достоевский трижды гостит у брата в Ревеле, который стал одним из самых модных курортов России, так как морские купания считались панацеей от всех болезней. Однако ревельское общество, по свидетельству современника, «своим традиционным, кастовым духом, своим... ханжеством..., разжигаемым фанатическими проповедями тогдашнего модного пастора... Гуна, своею нетерпимостью, особенно в отно-

шении военного элемента, произвело на Достоевского весьма тяжелое впечатление. Оно так и не изгладилося в нем во всю жизнь»<sup>4</sup>.

Возможно, пастор Август Фердинанд Гун (1807—1871), с его фанатизмом и нетерпимостью, послужил отправной точкой для создания образа Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых».

Поездки в Ревель оставили след и в творческой биографии писателя. В записных тетрадях Достоевского 1868—1869 годов имеются наброски повести о капитане Картузове, действие которой происходит в Ревеле. Правда, замысел повести остался неосуществленным, но капитан Картузов послужил в какой-то мере прообразом капитана Лебядкина в романе «Бесы».

Кроме брата было еще два человека, пламенный культ дружбы с которыми освящал юность Достоевского. В первый приезд в Петербург весной 1837 года он знакомится с чиновником Министерства финансов и поэтом Иваном Николаевичем Шидловским (1816—1872). В первые годы пребывания в Инженерном училище Достоевский находился под сильным влиянием Шидловского, который пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви. Достоевский восторженно рассказывает о Шидловском брату: «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической... Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О, какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее... Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Я имел у себя товарища, одно созданиё, которое так любил я!»

Недолго прослужив чиновником в Петербурге, Шидловский вскоре уехал к себе на родину, в Харьковскую губернию, и там готовил большое исследование по истории русской церкви. Небезынтересно отметить, что Ордынов — герой ранней повести Достоевского «Хозяйка», отчасти психологический портрет Шидловского, тоже пишет работу по истории церкви. В 1850-х годах Шидловский поступает послушником в Валуйский монастырь, затем предпринимает паломничество в Киев, снова возвращается домой, в деревню, где и живет до самой кончины.

Достоевский всю жизнь хранил нежные воспоминания о друге своей юности. Критик Вс. С. Соловьев вспоминает, что когда он попросил Достоевского в 1873 году сообщить некоторые биографические сведения для статьи о нем, писатель ответил: «Непременно упомяните в вашей статье о



Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало»<sup>5</sup>. В сознании Достоевского навсегда запечатлелся образ русского романтика Шидловского, хотя он и не идеализировал излишний отрыв его от действительности: Ордын в «Хозяйке» начинает линию романтических героев Достоевского, а Дмитрий Карамазов, декламирующий Шиллера, замыкает ее<sup>6</sup>.

Другой романтический друг молодого Достоевского — старший товарищ по Инженерному училищу Иван Игнатьевич Бережецкий (1820—?). Учитель и наставник училища А. И. Савельев, впоследствии генерал-лейтенант и историк, вспоминает: «И в юности он (Достоевский. — С. Б.) не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренне ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого... Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любивший уединение... Бывало, на дежурстве, мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету «Северная пчела», или произведения тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского... Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в этих друзьях особенно выдающихся душевных качеств, например, их сострадания к бедным, слабым и беззащитным...»<sup>7</sup>.

Брату Достоевский подробно рассказывает о совместном чтении с Бережецким Шиллера: «Я имел у себя товарища; одно создание, которое так любил я. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера, — ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более к стати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон-Карлоса и Маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья. Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний...»

В романтической дружбе с Шидловским и Бережецким впервые проявилась способность писателя к творческому перевоплощению — один из важнейших признаков настоящего художественного таланта. В письмах к брату Достоев-

ский одинаково легко перевоплощается и в двух своих романтических друзей, и в героев гениев мировой литературы и так же легко перевоплощает и друзей в этих героев.

Но пламенная дружба с Бережецким все же не могла скрасить духовного одиночества Достоевского в Инженерном училище. Из дружной, любящей семьи Федор попал в военное учебное заведение, где, например, новичков, или «рябцов», как их называли, нередко истязали воспитанники старших классов. К тому же сверстники встретили молодого Федора Достоевского насмешками: он был замкнут и робок и не имел ни манер, ни денег, ни знатного имени. Дома, в семье, Федора считали резвым и бойким ребенком и скорее упрекали в живости характера; и мать, и отец сходились в том, что «Федор — это огонь», так как он верховодил во всех играх и проявлял необычайную пылкость нрава и воображения. (Отец неоднократно говорил сыну: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой»<sup>8</sup>, то есть отданным в солдаты, разжалованным. Эти слова оказались пророческими.)

Но в чужой среде Достоевский замкнулся. Его товарищ по училищу К. Трутовский, впоследствии известный художник, оставивший, кстати, единственный портрет молодого писателя, рассказывал, что в 1839 году Достоевский был худощав, угловат, платье сидело на нем мешком, и хотя в нем чувствовалась доброта, вид и манеры его были угрюмы и сдержанны. Он был нелюдим, держался особняком, порою бывал смешным и, вероятно, показался неоперившимся птенцом всем этим дворянским сынкам, которые могли говорить о чем угодно, только не о литературе, не о Пушкине и не о Шиллере.

Воспитатель А. И. Савельев описывает Достоевского в 1841 году: «...Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходил с кем-либо из своих товарищей... Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой... спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось... Бывало, в глубокою ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло...»<sup>9</sup>.

Замкнутости и уединенности Достоевского в Инженерном училище способствовало не только раннее предчувствие им своего писательского предназначения, но и страшное известие, полученное им летом 1839 года: крепостные

крестьяне имения в Даровом убили в поле Михаила Андреевича Достоевского. Это известие потрясло юношу. Ведь совсем недавно умерла мать. Он вспомнил, как она любила отца настоящей, горячей и глубокой любовью, вспомнил, как бесконечно любил ее отец, вспомнил свое безмятежное детство, отца, привившего ему любовь к литературе, ко всему высокому и прекрасному. Нет, в насильственную смерть отца он так и не мог поверить до конца своих дней, никогда не мог примириться с этой мыслью, ибо известие о расправе над отцом — жестоким крепостником противоречило тому образу отца — гуманного и просвещенного человека, который Достоевский навсегда сохранил в своем сердце. Вот почему в его последнем романе «Братья Карамазовы» «лишь драгоценные воспоминания» «из дома родителей» вынес старец Зосима, а Алеша Карамазов также вдохновенно говорит о «прекрасном, святом воспоминании» детства как «самом лучшем воспитании». Вот почему в 1876 году в письме к брату Андрею Достоевский так высоко отозвался о родителях, а мужу сестры Варвары Карепину он писал: «Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших».

Прошло более 130 лет со дня известия о трагической смерти отца писателя. 18 июня 1975 года в «Литературной газете» появилась статья московского исследователя Г. А. Федорова «Домыслы и логика фактов», в которой он показал на основе найденных архивных документов, что Михаил Андреевич Достоевский не был убит крестьянами, а умер в поле между Даровым и Черемошной своей смертью от «апоплексического удара». Слухи же о расправе крестьян распространил соседний помещик Хотяинцев, с которым у отца Достоевского была земельная тяжба. Он решил запугать мужиков, чтобы они были ему покорны, так как некоторые двory крестьян Хотяинцева помещались в самом Даровом. Он шантажирует бабушку писателя (по матери), приезжавшую узнать о причинах случившегося. Андрей Михайлович Достоевский указывает в своих воспоминаниях, что Хотяинцев и его жена «не советовали возбуждать дела»<sup>10</sup>. Вероятно, отсюда и пошел слух в семье Достоевских о том, что со смертью Михаила Андреевича не все обстояло чисто.

Таким образом, Достоевский не ошибся в том образе своего отца, который он вынес из детства и юности и сохранил навсегда.

Дочь писателя утверждает, что с Достоевским «при первом известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии»<sup>11</sup>. Другие мемуаристы считают, что первый при-

падок произошел на каторге. Сам писатель не оставил на этот счет точных указаний. Но в данном случае это и не важно. Важно другое. Достоевский был очень мужественным человеком: ведь каждый припадок мог оказаться смертельным.

После смерти отца жизнь Достоевского в училище становится мучительнее с каждым днем. Одиноким и мечтательным, оставшийся в 18 лет сиротой, он жестоко страдает от контраста между счастливым детством и новой казенной и равнодушной обстановкой. То, что его волновало и интересовало, не находило отклика в Инженерном училище. Он мечтал о творчестве, литературе и свободе; военная карьера его совсем не прельщает. Главное — литература и свобода, служение своему художественному дару, который он уже ощущает в себе. Именно этим объясняют странные на первый взгляд слова Достоевского из письма к брату: «У меня есть прожект сделаться сумасшедшим».

Только притворившись безумным, за оградой мнимого безумия можно остаться свободным и независимым, заниматься первыми литературными опытами, читать Шиллера и Пушкина и совсем не думать о своих прямых обязанностях в Инженерном училище. Когда Достоевского отправили ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, то он забыл отрапортовать слова: «к Вашему Императорскому Величеству». Великий князь заметил: «Посылают же таких дураков»<sup>12</sup>.

Достоевский имел полное право воскликнуть об учебе в Инженерном училище: «Ах, брат, ежели бы ты только имел понятие о том, как мы живем... Такое зубрение, что боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут, милый мой». Только в первой половине, например, 1841 года Достоевский должен был сдать: 7 января — фортификацию, 8 — историю, 9 — французский язык, 11 — аналитику, 13 — геодезию, 14 — закон божий и начертательную геометрию, 15 — физику, 17 — архитектуру, 18 — ситуацию и русскую словесность. В апреле же начинался годичный экзамен, которым заканчивался четырехгодичный курс обучения в кондукторских классах. Снова сдавались: 22 апреля — аналитика, 26 — геодезия, 29 — начертательная геометрия, 3 мая — фортификация, 7 — артиллерия, 10 — физика, 13 — французский, 16 — русский язык, 21 — история, 24 — архитектура, 27 — закон божий, 28 — черчение (фортификация), 31 — черчение (архитектура), 2 июня — черчение (начертательная геометрия) и 3 июня — черчение (ситуация)<sup>13</sup>.

При такой загруженности Достоевский не только был

среди лучших воспитанников училища, но еще и успевал прочесть все те книги, о которых почти в каждом письме сообщал брату, делясь с ним восторгом от соприкосновения с художественным словом («весь Гюфман русский и немецкий», «почти весь Бальзак», Гете, Ж. Санд, Гюго, «вызубрил Шиллера», Шатобриан и др.).

Но в письмах к брату не только восторг от прочитанных книг — в них постоянные жалобы на невозможность найти применение собственным творческим силам: «Как грустна бывает жизнь твоя, когда человек, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной и неестественной для природы твоей... в жизни, достойной пигмея, а не великана,— ребенка, а не человека».

Правда, на прощальном вечере у брата Михаила 16 февраля 1841 года, накануне возвращения в Ревель после сдачи им экзамена на чин прапорщика полевых инженеров, Достоевский читает отрывки из своих драм «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» (они были навеяны чтением Шиллера и Пушкина), но это не в счет — он быстро понял, что драматургия не его призвание (эти первые литературные опыты не сохранились).

И снова жажда творческой свободы: «О, брат! милый брат! скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призвание дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то... как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».

5 августа 1841 года последовал приказ о производстве Достоевского из кондукторов в нижний офицерский чин — полевые инженеры-прапорщики. Это был какой-то проблеск свободы, так как прапорщики-офицеры могли жить уже не в стенах Инженерного замка, а на частной квартире.

Достоевский поселяется на Караванной улице вместе с младшим братом Андреем — но не надолго: они были совершенно разные люди. Утром Достоевский посещал лекции для офицеров, а вечером Александринский театр, великий актер В. В. Самойлов (через тридцать семь лет Достоевский напишет ему письмо, где расскажет о его игре как об одном из самых ярких впечатлений юности), концерты Ференца Листа и певца Д. Рубини, опера М. Глинки «Руслан и Людмила», прогулки по Петербургу, первые пробы пера, мечты и грезы...

Следуют частые смены квартир, причем почти все они в угловых домах,— привычка, сохранившаяся у Достоевского на всю жизнь. В сентябре 1843 года он поселяется на одной квартире с доктором А. Е. Ризенкампом, хорошо

знавшим его брата в Ревеле. Доктор верно уловил в своих воспоминаниях характер Достоевского: поразительно доверчивый и щедрый, неприспособленный к жизни и добрый, через много лет жена писателя Анна Григорьевна Достоевская засвидетельствует, что таким Достоевский оставался до конца дней.

Но даже проживание на частной квартире не дает полной свободы, возможности заняться только литературным трудом, и в письмах к брату снова вечные жалобы на тяготы службы.

Наконец 19 октября 1844 года подпоручик Федор Достоевский (этот чин он получил в августе 1842 года) выходит в отставку. Как и его великий учитель Бальзак, Достоевский стал профессиональным литератором. «Насчет моей жизни не беспокойся,— пишет он брату.— Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен».

И все же пребывание в Инженерном училище не осталось бесследным в творческой биографии писателя: четкая конструкция его романов, умение в конечном итоге «распутать» самые, казалось бы, невероятные ситуации, восприятие Петербурга как города, в котором «архитектурные линии имеют свою тайну»,— все это имеет прямое отношение к его первой профессии инженера.

Конечно, после выхода в отставку денежные дела оставляли желать гораздо лучшего: без жалования стало уже не всегда хватать той доли доходов с его имения в Даровом, которую ему ежемесячно посылал после смерти отца опекун Петр Андреевич Карепин — муж сестры Варвары. Достоевский предлагает за сумму в тысячу рублей серебром отказаться от всех прав на отцовское наследство. Однако Карепин не может быстро произвести раздел имения, и между ними завязывается любопытная переписка. Достоевский, уже работая над своим первым произведением «Бедные люди», в письмах к Карепину еще раз показал способности к литературному перевоплощению. Он может свободно перевоплощаться в своего героя, бедного чиновника Макара Девушкина.

В июле 1843 года в Петербург приезжает кумир Достоевского Бальзак. Вдохновленный его приездом, Достоевский переводит его роман «Евгения Гранде».

От социального романа французского писателя, с его состраданием к униженным и оскорбленным, прямая дорога к первому произведению Достоевского «Бедные люди». Приближалась «самая восхитительная минута во всей [его] жизни...».



**"САМАЯ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ  
МИНУТА"**

•

Петербург. Май 1845 года. Белая ночь, «чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель». На втором этаже небольшого дома на углу Владимирского проспекта и Графского переулка у окна сидит молодой человек. У него крупные черты лица, большой широкий лоб, а над тонкими губами короткие, редкие светло-каштановые усы. В серых, исподлобья хмурящихся глазах — озабоченность.

Совсем недавно он закончил рукопись первого литературного произведения — романа «Бедные люди», а вчера дал ее молодому литератору, товарищу по Инженерному училищу Дмитрию Григоровичу, с которым они вместе снимают эту квартиру.

Понравится ли Григоровичу? Поймет ли он, сколько здесь искреннего чувства и напряженной духовной работы?

Шум около входных дверей, и на пороге комнаты появляется Дмитрий Григорович вместе с незнакомым молодым человеком. Это поэт и издатель Николай Некрасов. Григорович и Некрасов, не отрываясь, прочли вслух всю рукопись, в четыре часа ночи прибежали к автору и в совершенном восторге, чуть не плача, бросились его обнимать.

Через много лет Достоевский вспоминал об этом: «Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал... Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое, что спит, мы разбудим его. Это выше сна!»

После ухода Григоровича и Некрасова Достоевский не мог заснуть. «Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно».

Некрасов передал рукопись Белинскому, который пожелал познакомиться с начинающим писателем. Встреча состоялась. Белинский «заговорил пламенно, с горящими гла-

зами: «Да вы понимаете ль сами-то,—повторял он мне (Достоевскому.— С. Б.) несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению,— что это вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы, в ваши двадцать лет, уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать, и когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог похалатеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уже не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия!.. Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!»

Достоевский уходит от Белинского «в упоении». «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом».

Первое произведение Достоевского «Бедные люди», увидевшее свет 15 января 1846 года в «Петербургском сборнике», стало событием в истории русской литературы. Появлению шедевра предшествовала необычайно кропотливая и тщательная работа писателя. Работа над переводом «Евгении Гранде» помогает Достоевскому отказаться от драматических планов: под впечатлением от повести Бальзака о несчастной девушке он задумывает свое первое произведение «Бедные люди».

В сентябре 1844 года Достоевский сообщает брату: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме «Eugénie Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я, наверное, уже и ответ получу за него. Отдал в «Отечественные записки». Я моей работой доволен. Получу, может быть, рублей 400, вот и все надежды мои».

Д. В. Григорович, свидетельствующий, что денег у них с Достоевским хватало только на первую половину месяца, а остальные две недели они питались булками и ячменным кофеем, вспоминает: «Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака «Евгения



Гранде». Бальзак был нашим любимым писателем... Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные... Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. ...Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки... После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три»<sup>14</sup>.

Рукопись «Бедных людей» Достоевский закончил в ноябре 1844 года, однако в декабре она подвергается полной переработке, а в феврале 1845 года — вторичной переделке. «Кончил я его (роман.— С. Б.) совершенно,— сообщает начинающий беллетрист брату,— чуть ли еще и в ноябре месяце, но в декабре задумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен».

Достоевский никак не может удовлетвориться формой, он хочет совершенства. Это стремление к совершенству осталось на всю жизнь. Бесконечная нужда, заставлявшая работать с чудовищной быстротой, чтобы получить скорее гонорар, была действительно трагедией его творческой жизни: лишь два раза в жизни, когда Достоевский писал первое произведение «Бедные люди» и когда он через тридцать пять лет создавал последнее произведение «Братья Карамазовы», — он имел возможность спокойно поработать, не наспех, тщательно обдумав план и строго следя за языком и стилем.

Это наглядно подтверждает творческая работа над «Бедными людьми». Казалось, вторая переделка Достоевского удовлетворяет, когда он пишет брату: «Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная», но тут же художник добавляет: «Есть, впрочем, ужасные недостатки».

Взыскательная переработка первого романа — не только поиски его совершенной формы, но и начало творческой биографии будущего великого писателя, который уже предчувствует крестный путь в русской литературе и трагиче-

скую судьбу. На каждое свое произведение, в том числе и на «Бедные люди», Достоевский смотрел как на произведение, от которого зависит вся его жизнь, вся судьба, все творчество. Если же говорить о «Бедных людях», то к этому добавлялись еще запутанные денежные дела, грозящие полным разорением, подорванное здоровье и полная неясность литературных планов.

Вот почему с первым произведением Достоевский связывает вопрос о жизни и смерти: «Дело в том, что я все это хочу выкупить романом. Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь». Жизнь или смерть, все или ничего, быть или не быть — вот последние, предельные вопросы, сопровождавшие рождение великого писателя. И когда Достоевский сообщает брату, что он в «Инвалиде», в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших от голода, холода и в сумасшедших домах и ему «до сих пор как-то страшно», то он связывает судьбу этих немецких поэтов с собственной литературной и жизненной судьбой в случае неудачи первого произведения «Бедные люди».

Поэтому Достоевский упорно ищет подходящую художественную форму. Через полтора месяца после второй переделки, в апреле 1845 года, «Бедные люди» подвергаются новой коренной и на этот раз уже последней (до печатания) переделке. 4 мая Достоевский пишет брату: «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что, если бы я знал, так не начинал бы его совсем. Я задумал его еще раз переправлять и, ей богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последней. Я слово дал до него не додрагиваться».

Однако три переделки «Бедных людей» — это не только поиски адекватной художественной формы, но и свидетельство напряженной духовной работы автора, серьезного изменения в его мироощущении, о чем Достоевский доверительно дает понять брату: «Я страшно читаю и чтение страшно действует на меня. Что-нибудь давно перечитанное прочитываю вновь, и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать... Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».

Итак, сам Достоевский сообщает, что в течение 1843—1845 годов он как бы заново духовно родился. Но был ли этот духовный перелом связан непосредственно с историей создания «Бедных людей», с творческой работой над пер-

вым произведением или в его основе лежал какой-то факт из биографии самого писателя? Через шестнадцать лет Достоевский в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» соединил работу над «Бедными людьми» с недостающим фактом из своей биографии:

«Помню раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки, в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мгlistом небосклоне...

Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приятными нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как бы облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленно; как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что в эти минуты началось мое существование...»

Это «видение на Неве» кладет конец романтической юности Достоевского, рыцарским замкам в романах Вальтера Скотта, слезам восторга над стихами Шиллера, таинственным и фантастическим сказкам Гофмана, мечтательной дружбе с поэтом Шидловским.

Достоевский жил в мечтах, «в воспаленных грезах», чуждый действительности. И вдруг озарение: «Стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники... И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».

Романтическая пелена спала: Достоевский понял, что ничего нет фантастичнее русской действительности. Это «видение на Неве» он считает своим писательским рожде-

нием. И не случайно рождение произошло в самом фантастическом городе на свете — Петербурге, как и не случайно, что у истоков этого рождения стоял Н. В. Гоголь с его «Невским проспектом» и «Шинелью». Поиски своего «видения на Неве» и были, по всей вероятности, связаны с трехкратной переделкой «Бедных людей».

«Видение на Неве» вплотную подводит к замыслу первого произведения Достоевского. В «Бедных людях» он развивает излюбленную тему русской литературы 40-х годов XIX века — тему маленького, бессильного, забытого человека, начатую А. С. Пушкиным в его «Станционном смотрителе» и достигшую своей вершины в знаменитой «Шинели» Н. В. Гоголя. В повести «Шинель» Гоголь изображает бедного чиновника Акакия Акакиевича, тупого, забытого и бессловесного. Ценой нечеловеческих лишений он собирает деньги на покупку новой шинели. Но ее у него крадут, и он умирает от отчаяния и горя. Герой «Бедных людей» Макар Деушкин тоже бедный и жалкий чиновник, также всю жизнь переписывает бумаги, над ним издеваются сослуживцы, его распекает начальство. Достоевский оказался внимательным читателем гоголевской повести, но вместе с тем ученик бунтует против своего учителя.

Л. Н. Толстой любил повторять слова художника К. Брюллова: «Искусство только там и начинается, где начинается „чуть-чуть“». Казалось бы, молодой Достоевский лишь «чуть-чуть» изменил «Шинель» Гоголя: вместо вещи (шинели) у Достоевского — живое лицо (Варенька); тупое существо, высший идеал которого — теплая шинель, Акакий Акакиевич заменен в «Бедных людях» трогательным своей привязанностью, бескорыстной любовью к Вареньке Макаром Алексеевичем, но это-то и было простое и гениальное изменение. Процесс пробуждения личности в маленьком человеке, глубокое проникновение во внутренний мир этого человека, так поразившее Белинского, — вот то новое, что внес Достоевский в первый роман. Он проследил, как униженное и оскорбленное существо начинает сознавать в себе человека и даже делает робкую попытку бунтовать против разделения людей на бедных и богатых. Встреча с Варенькой и явилась для Макара Деушкина решающим толчком для проявления социального протеста. Именно на это обратил внимание Н. А. Добролюбов в статье о творчестве Достоевского «Забитые люди».

Достоевского, в отличие от Гоголя, интересует не только «бедность» бедного человека, но и искаженное под влиянием нищеты сознание «забытого» человека. Достоевский анализирует бедность как особое душевное состояние чело-

века. 1 февраля 1846 года он писал брату: «Все наши и даже Белинский нашли, что я далеко ушел от Гоголя. Во мне находят новую оригинальную струю, состоящую в том, что я действую анализом, а не синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое».

Макар Девушкин читает «Шинель» и принимает все на свой счет. Он глубоко оскорблен этим «пашквилем» и жалуется на него Вареньке: «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник».

Макар Девушкин с негодованием возвращает Вареньке «Шинель» и с восторгом отзывается о «Станционном смотрителе»: «Читаешь — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое оно уже там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно, — вот как! Нет, это натурально!»

Для Достоевского это высший приговор над «Шинелью». Начинающий писатель вступает в полемику с Гоголем по вопросу о гуманизме. Гуманизм, считает Достоевский, заключается не только, а возможно, и не столько в том, чтобы пожалеть бедного человека, а в том, чтобы наделить его голосом, сделать судьей. Достоевский не признает Акакия Акакиевича как героя, лишённого самосознания, душевного мира. Он подходит к человеку не извне — это оскорбительно, а изнутри. Не оупение героя под влиянием бедности интересует Достоевского, а его изощренное сознание. Макар Девушкин страдает не от бедности, как Акакий Акакиевич, а от сознания, что другие видят его нищету. Герой «Бедных людей» пьет чай, потому что пьют другие, он стесняется своих рваных сапог не потому, что ему неудобно в них ходить, — его больше беспокоит, что подумают другие, увидев такие сапоги.

Но физические страдания — ничто по сравнению с душевными терзаниями, на которые обрекает бедность. Девушкин переживает ее не только как социальное явление, но и анализирует как особый склад души, особое психологическое состояние человека. Нищета означает беззащитность, запуганность, униженность, она лишает человека достоинства, превращает в «ветошку», бедняк замыкается в своем стыде и гордости, ожесточается сердцем, делается подозрительным и «взыскательным».

Макар Девушкин — тот же Акакий Акакиевич, наделенный самосознанием. Слово героя о себе — вот с чего начал будущий создатель полифонического романа, а «Бедные люди» — уже зародыш полифонии. Вот почему это роман в

письмах — герой получил возможность говорить о себе. И здесь тоже полемика с Гоголем, видевшим трагизм Акакия Акакиевича в отсутствии самосознания героя, а у Макара Девушкина, наоборот, гипертрофированное сознание.

И в герое «Шинели», и в герое «Станционного смотрителя» Девушкин узнает самого себя. Но если второго он полностью принимает, то первого полностью отвергает: бедному человеку совсем не нужно сожаления и сочувствия, наоборот, он боится сожаления и сочувствия. В «Шинели» Акакий Акакиевич встречается с полным равнодушием и умирает. Достоевский меняет ситуацию: «их превосходительство», увидев оторванную пуговицу, дает герою 100 рублей и пожимает ему руку.

Эта сцена, которая привела в такой восторг Белинского, имеет двойной смысл. Достоевский пытается смягчить остроту социальных противоречий и в духе утопического социализма мечтает о мире и согласии между «их превосходительством» и Макаром Девушкиным. Но есть и второй, более глубокий подтекст в этой сцене. «Их превосходительство» пожалел своего подчиненного — дал ему 100 рублей. Значит, Девушкин перестал быть бедным человеком, однако положение не изменилось: сословная иерархия сохранилась и герой остался таким же несчастным. Здесь Достоевский снова полемизирует с Гоголем: дело не в доброжелательных и недоброжелательных людях — общественный строй от этого не изменится.

Макар Девушкин, в отличие от Акакия Акакиевича, не только униженная, забитая, но и протестующая личность. И хотя Достоевский показывает, что такие люди, как Макар Девушкин, настолько свыклись со своим положением, что уже сами не верят в существование справедливости, все же герой «Бедных людей» — первый «бунтовщик» у Достоевского. Соединив гоголевскую тему о бедном чиновнике с фабулой «Станционного смотрителя», Достоевский из скромной психологической истории любви Девушкина к Вареньке создал реалистическую картину общественного зла и социальной несправедливости.

Именно социальный пафос «Бедных людей» и привлек прежде всего внимание В. Г. Белинского и создал первому произведению Достоевского шумный успех. В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский рассказал о своей внезапной славе после появления «Бедных людей», о «самой восхитительной минуте» всей его жизни, когда рукопись прочел В. Г. Белинский. А в 1861 году об этом же вспоминает в романе Достоевского «Униженные и оскорбленные» начинающий писатель Иван Петрович: «И вот вышел,

наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже не во время первых упительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи; в те долгие зимние ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим».

Самый «торжественный момент» в жизни Достоевского — рождение писателя — произошел в петербургские белые ночи и получил благословение Н. А. Некрасова и В. Г. Белинского.

Начало литературного пути Достоевского было блистательным. Но только в 1880 году он второй раз в своей творческой жизни пережил, после знаменитой Пушкинской речи, «самую восхитительную минуту» всей жизни.

Между этими двумя событиями стоят многие годы непонимания, а за солнечными днями биографии молодости через пять лет последовали мрачные казематы Петропавловской крепости и ужас «Мертвого дома»...

### *Глава третья*



## **ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ**

•

Непонимание началось уже со второго произведения — повести «Двойник», которую Достоевский начал писать в Ревеле, в гостях у брата Михаила, летом 1845 года. Возвратившись в августе в Петербург, он продолжает трудиться над новой повестью. Работа продвигается успешно, но мрачные предчувствия не оставляют молодого писателя. «Как грустно было мне въезжать в Петербург,— пишет Достоевский брату.— Мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такую суровую, что, если бы моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостью бы умер».

Но В. Г. Белинский, страстно поверивший в гениальность автора «Бедных людей», вначале столь же страстно верит и во второе произведение Достоевского. «Я бываю весьма часто у Белинского,— сообщает писатель брату.— Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикой и оправдание мнений своих... Белинский попускает меня дописывать Голядкина. Уж он разгласил о нем во всем литературном мире и чуть не запродал Краевскому, а о «Бедных людях» говорит уже пол Петербурга».

Поразительным сочетанием чисто ребяческого хвастовства и простодушной хлестаковщины полны письма Достоевского к брату Михаилу конца 1845 — начала 1846 года. «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь,— сообщает Достоевский 16 ноября 1845 года.— Всюду почтение невероятное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народа, самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаянья. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский что-то сказал, Достоевский что-то хочет делать. Белинский любит меня, как нельзя более...»

Состояние писателя объясняется неожиданным «поворотом колеса Фортуны», когда из убогой обстановки Мариинской больницы, из замкнутого мира Инженерного училища, из бедности и неизвестности, самолюбивый и легко ранимый литератор, уже сознающий свою гениальность и высокое предназначение, вдруг попадает в «высший свет», и даже красавец и аристократ И. С. Тургенев в нем души не чает: «На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слышал) и с первого раза привязался ко мне такую привязанностью, такую дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него».

Успех «Бедных людей» раскрыл перед Достоевским двери петербургских салонов, и в доме литератора и журналиста И. И. Панаева он познакомился с его женой, писательницей Авдотьей Яковлевной Панаевой. «Вчера я в первый раз был у Панаева,— писал он брату 16 ноября 1845 года,— и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, и вдобавок любезна и пряма донельзя. Время я провожу весело».

Авдотье Панаевой было тогда двадцать шесть лет. Не-



высокая кокетливая брюнетка, она вся точно сверкала: блеск ее зубов, карих глаз, светлой кожи, крупных бриллиантов на шее и в ушах сливались в ослепительное сияние. Темное платье, отделанное кружевами, подчеркивало стройную фигуру. Такой увидел ее Достоевский, и она покорила его с первого взгляда.

Молодая А. Я. Панаева надолго запомнилась Достоевскому. Одной очень характерной чертой ее внешности он наградил героиню «Преступления и наказания», тоже Авдотью — сестру Раскольниковова: «Рот у нее был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, — единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность».

Через три месяца после встречи с Авдотьей Яковлевной Достоевский писал брату: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, я не знаю еще. Здоровье мое ужасно расстроено, я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической».

Первая влюбленность Достоевского была мучительна, так как он быстро понял, что на взаимность никогда не сможет рассчитывать: Панаеву всегда окружала толпа многочисленных поклонников, среди которых далеко не последнюю роль играл Н. А. Некрасов.

Через много лет в рассказе «Бобок» Достоевский вспомнит о «светской львице» Панаевой и наградит ее именем одну из «загробных» дам — Авдотью Игнатьевну, мечтающую и на том свете тоже иметь поклонников. К неудовлетворенности первого чувства присоединился еще и светский провал: интерес к новому гению в петербургском обществе быстро упал, причем и сам Достоевский вел себя нелепо. Умная А. Я. Панаева сразу разгадала нового поклонника. «С первого взгляда на Достоевского, — рассказывает А. Я. Панаева в своих воспоминаниях, — видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек... По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском труде. Ошеломленный блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями»<sup>15</sup>.

Граф Владимир Александрович Соллогуб, в 30—40-х го-

дах популярный беллетрист «натуральной школы», еще глубже, чем А. Я. Панаева, сумел почувствовать, что именно за ребяческим хвастовством и добродушной хлестаковщиной скрывается подлинное лицо Достоевского: одинокого и доверчивого мечтателя, с неумной жадой сердечного участия, с верой в доброту и искренность. «Я сейчас к нему поехал,— вспоминал В. А. Соллогуб, узнав, наконец, адрес Достоевского,— и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц.. молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный, домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое, старомодное кресло... Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его приехать ко мне за просто пообедать»<sup>16</sup>.

К неудаче с Панаевой Достоевский был готов (он даже не осмеливался признаться в своей любви, настолько она казалась ему фантастической и невозможной), к светскому провалу — тоже (когда в начале 1846 года на вечере графа М. Ю. Виельгорского Достоевского представили известной красавице Сенявиной, то с ним случился припадок или обморок), а вот к охлаждению к нему Белинского и его кружка он оказался совсем неподготовленным.

В «Дневнике писателя» в 1877 году Достоевский вспоминает, что в начале декабря 1845 года на литературном вечере у Белинского он читал несколько глав из «Двойника»: «Для этого он [Белинский] устроил даже вечер (чего почти никогда не дельвал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того)».

Однако присутствовавший на вечере историк литературы Павел Васильевич Анненков почувствовал некоторую напряженность Белинского и подметил одну «заднюю мысль» критика: «Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально странной темы, но мне.

показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость *набить руку*, что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения...»<sup>17</sup>.

Этой «задней мыслью» и объясняется, вероятно, изменение Белинским оценки «Двойника».

1 февраля 1846 года выходит книжка «Отечественных записок» с «Двойником». И снова ученик бунтует против учителя, Достоевский бунтует против Гоголя, только на этот раз против «Записок сумасшедшего» (сюжет «Двойника» развивает тему «Записок») и «Носа» (мотив раздвоения Голядкина в «Двойнике» — нос, отделившись от коллежского асессора Ковалева, тоже становится как бы его двойником).

Титулярный советник Яков Петрович Голядкин — порождение призрачного города, самого фантастического города на свете, каким всегда казался Достоевскому Петербург. Бюрократический строй николаевской империи подавляет человеческую личность, лишает ее лица и человеческие ценности подменяет табелью о рангах. В борьбе за место под солнцем бедный человек раздваивается: сознание Голядкина-старшего порождает Голядкина-младшего, преуспевающего подлеца, который отделяется от Голядкина-старшего и начинает вести против него интриги.

Так тема раздвоения (с одной стороны, Голядкин презирает людей, ездивших в голубых каретах, а с другой — страстно им завидует и страстно желает стать таким же) оборачивается темой самозванства — популярной темой в русской литературе 1830-х годов. Русская история всегда была богата самозванцами: Дмитрий, Разин, Пугачев, Екатерина II (через мужа), Александр I (через Павла), Николай I (занял место Константина), совсем близкий пример из европейской истории — Наполеон, объявивший себя императором, а в литературе Хлестаков в «Ревизоре» и Поприщин в «Записках сумасшедшего», объявляющий себя испанским королем. (Через много лет писатель В. Г. Короленко, специально занимавшийся проблемой русских самозванцев, с полным основанием включил в их число и Голядкина-младшего.)

Достоевский соединяет обе темы: раздвоения и самозванства — бедного человека, мечтающего о власти. Однако если Поприщин нашел удовлетворение в том, что он испанский король, то Голядкин-старший стал несчастлив, когда у него появился двойник Голядкин-младший, потому

что Голядкин-младший интригует против Голядкина-старшего. Вот поворот Достоевским гоголевской темы. Став влиятельным, самозванец угнетает тех людей, которые стремятся стать такими же. Достоевский берет трагическую сторону самозванства. Самозванный двойник сразу же обнаружил желание вытеснить Голядкина-старшего из земного существования, постоянное угнетение человека может пробуждать в нем темную жажду мести, зависть к чужой подлости — вот почему Голядкин раздваивается. Здесь впервые Достоевский прозревает появление людей, которые ни с чем не считаются для достижения своей цели и которым все позволено — недаром же в «Преступлении и наказании» образ Раскольникова ассоциировался в сознании писателя с образом Наполеона.

Через тридцать один год после выхода «Двойника» Достоевский вспоминал о своем втором произведении: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет 15 спустя, для тогдашнего «общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что это вещь совсем не удавшаяся, и если бы я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму. Но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил».

Это излишне самокритичная оценка, свидетельствующая о взыскательном вкусе мастера, но в 1846 году Достоевский, действительно, еще не мог освободиться от поэтики «натуральной школы» и в традиционные, старые «гоголевские» формы пытался вложить новое содержание.

Мысль о том, что в «Двойнике» он «серьезнее идеи никогда ничего в литературе не проводил», не оставяла в покое Достоевского. 1 октября 1859 года он пишет брату из Твери: «В половине декабря я пришлю тебе (или привезу сам) исправленного «Двойника». Поверь, брат, что это исправление, снабженное предисловием, будет стоить нового романа. Они увидят, наконец, что такое двойник! Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой и, наконец, если теперь не исправлю «Двойника», то когда же я его исправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником».

Но Достоевскому не удалось тогда переработать свою повесть: слишком много «личного» навалилось тогда на него в Твери в 1859 году — все силы были отданы борьбе

за разрешение жить в Петербурге и Москве. Но работа над «превосходной идеей» продолжается: образ Голядкина-младшего — «олицетворение подлости» — вбирает в себя личность агента Третьего отделения Антонелли, предавшего петрашевцев, затем в романе Достоевского «Бесы» материализуется в двух образах: «мелкого беса», провокатора и негодяя Петра Верховенского и «главного беса» самозванца Ставрогина, и, наконец, в последнем романе «Братья Карамазовы» Достоевскому удастся полностью реализовать юношескую идею в раздвоении Ивана Карамазова.

После появления «Двойника» Достоевский пишет брату: «Голядкин в десять раз выше «Бедных людей». Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное, и чего, чего не говорят они! С какими надеждами они смотрят на меня!»

Однако реакционная критика и журналистика 1840-х годов, враждебная Белинскому и «натуральной школе», дала резко отрицательную оценку «Двойнику». В мартовской книжке «Отечественных записок» за 1846 год, стараясь опровергнуть мнение критики о растянутости «Двойника», В. Г. Белинский доказывал, что это впечатление происходит от «богатства» и «чрезмерной плодовитости» «еще не созревшего» дарования Достоевского: «...«Двойник» носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопытного: отсюда все его недостатки, но отсюда же и все его достоинства»<sup>18</sup>.

Отзыв был вполне благожелательный, но мнительного Достоевского он привел в полное уныние. «Вот что гадко и мучительно,— делился он с братом Михаилом,— свои, наши, Белинский и все недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика... Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок — неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь... Вот это-то и создало мне на время ад, и я заболел от горя».

Нервная болезнь Достоевского усиливается, и он спешит поделиться с братом Михаилом, единственным близким ему человеком. «Болен я был в сильнейшей степени раздражения всей нервной системы», — сообщает Достоевский брату 26 апреля 1846 года, а 16 мая снова пишет о болезни:

«Я решительно никогда не имел у себя такого тяжелого времени. Скука, грусть, апатия, лихорадочное, судорожное ожидание чего-то лучшего мучат меня. А тут болезнь еще...»

Достоевский знакомится в конце мая 1846 года с врачом Степаном Дмитриевичем Яновским (1817—1897), который несколько месяцев лечит его. Через сорок лет Яновский так описывал внешний вид своего пациента: «Роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие»<sup>19</sup>.

Яновский на всю жизнь сохранил любовь к Достоевскому как к человеку и преклонение перед его великим талантом, а Достоевский писал ему в 1872 году: «Вы любите меня и возились со мною, с больным душевною болезнью (ведь я теперь сознаю это) до моей поездки в Сибирь, где я вылечился».

В этот период нервной болезни Достоевский сосредоточен в себе и напряженно думает о мучительных противоречиях человеческой природы. Ни на минуту не прекращается в нем творческий процесс, и даже у брата в Ревеле, как он сам говорил, «страдал все лето» повестью «Господин Прохарчин». Молодого Достоевского неотступно преследует проблема сознания бедного человека. Как в «Бедных людях» и «Двойнике», так и в следующих ранних произведениях — «Господин Прохарчин», «Слабое сердце», «Ползунков» — он продолжает исследовать опасности, грозящие «слабому сердцу», пристально «всматривается» в человека, исследует, разгадывает его. Достоевский углубляет изучение всех бед, грозящих в условиях социального гнета мечтательному человеколюбию, «слабому сердцу», и причин, по которым герой «Слабого сердца» Вася Шумков становится сумасшедшим, а Ползунков — шутом гороховым.

И Вася Шумков, и Ползунков — утописты, мечтатели. Аркадий говорит Васе: «Ты добрый, нежный такой... кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно!» Мечтателю все люди кажутся прекрасными, благородными, добрыми, но «доброе сердце» гибнет от «уединения», от того, что его не понимают.

Собственная биография Достоевского помогла ему найти

новую художественную тему — мечтательство. Нервный, мнительный, еще не умевший владеть собой, он мучительно переживал непонимание его произведений Белинским и кругом «Современника». В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский отмечал значительные недостатки тех сочинений, которые были написаны после «Бедных людей»: «Все, что в «Бедных людях» было извинительными для первого опыта недостатками, в «Двойнике» явилось чудовищными недостатками, и это все заключается в одном: в неумении слишком богатого силами таланта определять разумную меру и границу художественному развитию задуманной им идеи... В десятой книжке «Отечественных записок» появилось третье произведение г. Достоевского, повесть «Господин Прохарчин», которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю...»<sup>20</sup>.

У болезненно восприимчивого Достоевского, раздраженного и материально неустроенной жизнью, и нервной болезнью, оскорбленное самолюбие и взрывы гордости сменяются тоской и безнадежностью. То он сравнивал себя с Гоголем и обещал «всем показать», что «первенство в литературе останется за мной», то вдруг становился удивительно кротким и смиренным. К обиде, разочарованию и сомнениям в себе добавлялись еще неустроенность, долги, безденежье и поиски заработка. Спешная работа — переводы, писание рассказов для покрытия авансов, взятых в журналах, правка корректур — давала гроши. Достоевский жил в постоянной нужде, одиночестве и заброшенности.

В октябре 1846 года ему становится так невыносимо жить в Петербурге, что он решает уехать в Италию. «Я еду не гулять, а лечиться,— сообщает Достоевский брату 7 октября 1846 года,— Петербург — ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь. А здоровье мое, слышно, хуже...»

Достоевский строит фантастические планы, как заработать деньги (эти планы он строил всю жизнь, оставаясь до конца дней своих абсолютно непрактичным человеком). В Италию он напишет роман, потом из Рима ненадолго отправится в Париж, а деньги достать очень просто — надо только в одном томе издать все его сочинения. Однако проходит ровно десять дней, и писатель сообщает брату, что путешествие откладывается: «Меня все это так расстраивает, брат, что я, как одурелый... Мне, брат, нужно решительно иметь полный успех, без этого ничего не будет».

На почве нервного и физического истощения, усилен

ного двухлетнего труда над «Бедными людьми» и «Двойником», потрясения от блистательного успеха первой повести и шумного провала второй у Достоевского началось нечто вроде психической болезни, душевного заболевания, о чем он впоследствии неоднократно упоминал, правда, довольно глухо. Через пятнадцать лет в романе «Униженные и оскорбленные» Достоевский художественно перерабатывает этот автобиографический материал, и герой романа, рассказчик Иван Петрович — литератор, тоже с вершины славы, после повести о бедном чиновнике, расхваленной критиком Б., вдруг падает в неизвестность и заболевает нервной болезнью (биография героев Достоевского помогает узнать его собственную биографию, и, наоборот, судьба писателя дает возможность понять биографию его героев). «Я бросил перо и сел у окна,— рассказывает Иван Петрович.— Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна: так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов, а я так давно не видал их! Помню, пришло мне тоже на мысль: как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что произошло в последние годы; ...и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение... Была же жажда жизни и вера в нее».

Эта «жажда жизни» (эти слова повторит Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых», сравнивая «жажду жизни» с «клейкими листочками», а сам Достоевский всегда находил в себе самом «кошачью живучесть») вместе с неумейной жаждой творчества и спасли Достоевского. Он начинает выздоравливать. Правда, отношения его с кругом «Современника» становятся все более натянутыми. Свою новую повесть «Хозяйка» Достоевский отдает не в «Современник», где до этого печатался его небольшой рассказ «Роман в девяти письмах», а в «Отечественные записки» А. А. Краевскому. «Скажу тебе,— пишет Достоевский брату 26 ноября 1846 года,— что я имел неприятность окончательно поспориться с «Современником» в лице Некрасова... Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалит меня...»

Как и всегда и во всем, Достоевский страшно гиперболизирует расхождение с Белинским, Некрасовым и вообще с кругом «Современника», и когда гиперболизация принимает вселенские масштабы и молодой писатель вдруг смело



заявляет: «Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашей литературою, журналами и критиками... и устанавливаю и на этот год мое первенство назло недоброжелателям моим», — то опять почти стираются границы между реальностью и вымыслом, между Голядкиным в «Двойнике» и его создателем.

А. Я. Панаева вспоминает: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался...

Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду... Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками...»<sup>21</sup>.

Д. В. Григорович, который помог Некрасову и Белинскому «открыть» Достоевского, тоже рассказывает об этой травле «больного, нервного человека»: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себе еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет...

После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпитаммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю...»<sup>22</sup>.

Коллективному творчеству Тургенева и Некрасова в конце 1846 года принадлежит «Послание Белинского к Достоевскому», начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры,  
Достоевский, милый пыщ,  
На носу литературы  
Рдеешь ты, как новый прыщ...

По свидетельству А. Я. Панаевой, у Некрасова с Достоевским произошло бурное объяснение по поводу этого «Послания»: «...Когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии. «Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. — Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел»<sup>23</sup>.

Только через тридцать лет Достоевский снова сблизился с Некрасовым, а после смерти поэта признался, как Некрасов был ему всегда дорог. Всю последующую творческую жизнь Достоевский, хотя никогда и не мог забыть первую встречу с Белинским, резко, и не всегда справедливо, высказывался о нем. Но, может быть, Достоевский вспомнил о таком своем отношении к критику, когда незадолго до смерти вложил в уста Алеши Карамазова в последнем романе «Братья Карамазовы» такие слова: «Может быть, мы... будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем». Начавшаяся ссора с Тургеневым превратилась в историю одной вражды, и только за полгода до смерти, в своей знаменитой Пушкинской речи, упомянув Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» в числе замечательных русских женщин, Достоевский как бы помирился с Тургеневым, завещав потомкам не вражду, а великое художественное слово.

После ссоры с окружением Белинского Достоевский меняет круг знакомых и в конце 1846 года сходится с братьями Бекетовыми — Андреем Николаевичем (1825—1902) — впоследствии крупным ученым-ботаником и Николаем Николаевичем (1827—1911) — затем знаменитым химиком. В кружок его ввел их старший брат Алексей Николаевич, товарищ Достоевского по Инженерному училищу. Это был на редкость гостеприимный дом, в котором всегда собиралось большое и веселое общество. Здесь тоже бывали жи-

вые беседы, жаркие споры, но никогда не доходило дело до ссор или оскорблений. Д. В. Григорович — единственный из мемуаристов, кто рассказывает о принадлежности Достоевского к кружку Бекетовых, глухо упоминает о том, что в этом кружке «езде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости»<sup>24</sup>, и не пишет о том, что это был социалистически настроенный кружок и, таким образом, Достоевский посещал его еще до знакомства с М. В. Петрашевским. (Еще раньше с социалистическими и коммунистическими идеями его познакомил Белинский.)

Зимой 1846 года Достоевский с братьями Бекетовыми делает опыт «ассоциации». «Бекетовы вылечили меня своим обществом,— пишет он брату.— Наконец, я предложил жить вместе. Нашлась квартира, большая и все издержки по всем частям хозяйства — все — не превышает 1200 руб. ассиг. с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации... Видишь ли, что значит ассоциация? Работай мы врозь, упадем, оробеем, обнищаем духом. А двое вместе для одной цели — тут другое дело».

К этому же времени относится знакомство писателя с литературным салоном Майковых, где Достоевский, по словам доктора С. Яновского, разбирал «со свойственным ему атомистическим анализом» характеры произведений Гоголя, Тургенева и своего «Господина Прохарчина» Дружба Достоевского с поэтом Аполлоном Николаевичем Майковым (1821—1897) сохранилась на всю жизнь, хотя и испытала некоторые «трещины» и «заминки», когда в 1875 году Достоевский неожиданно для Майкова напечатал свой роман «Подросток» в демократических «Отечественных записках» Некрасова.

Достоевский живет в нужде, «на поденной работе» у издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского (1810—1889). Он задолжал ему большую сумму денег и с трудом перебивается от аванса до аванса, хочет писать большой роман, но из-за денег вынужден сочинять вещи «легкие».

Но даже сочиняя вещи «легкие», Достоевский создает ряд шедевров, объединенных одной темой — мечтательство. Именно эта тема помогла ему и преодолеть разрыв с Белинским и кругом «Современника», и найти, в противовес «натуральной школе», новую, свою художественную манеру письма.

В 1847 году Достоевский пишет ряд очерков в газете «Санкт-Петербургские ведомости» под общим заглавием «Петербургская летопись». Умирает фельетонист этой сто-

личной газеты Э. И. Губер, и Достоевский принимает предложение занять его место. Писателя привлекает возможность в непринужденной, живой и доверительной форме беседовать с читателями, и «Петербургская летопись» — первая попытка, прообраз будущего «Дневника писателя».

Достоевский делится своими наблюдениями над современными нравами, отношениями людей, впечатлениями о литературных новинках или событиях. Из этих очерков писатель черпает содержание своих произведений конца 1840-х годов: «Хозяйка» (1847), «Елка и свадьба» (1848), «Белые ночи» (1848).

В «Хозяйке», на первый взгляд довольно странном произведении, сказались и юношеское увлечение Гофманом и Шиллером, и дружба с Шидловским в Инженерном училище. Образ героя «Хозяйки», историка церкви, мечтателя Ордынова автобиографичен, но, в отличие от предыдущих произведений, писатель анализирует здесь не социальное, а психологическое порабощение бедного человека: загадочный старик Мурин таинственно поработил сердце Катерины постоянным внушением ей чувства ее вины, ее греха. Главная идея этой ранней повести, которую тогда почти никто не понял, раскрылась только через тридцать лет, в романе «Братья Карамазовы». Великий Инквизитор говорит Христу: «Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается... Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет».

В очерках «Петербургская летопись» Достоевский отвечает на вопрос: почему так печальна судьба человека с добрым, «слабым сердцем»? «Только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении, может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце!»

Итак, «грех мечтательства» — в уединении. Но как ни печальна судьба мечтателя, сам факт его появления в социально несправедливом обществе — залог преобразования этого общества. Мечтатель — новый человек в понимании Достоевского в 1840-е годы — это своеобразный протест против действительности.

Образ мечтателя является одним из центральных в творчестве молодого Достоевского. И позднее, в 70-е годы, Достоевский собирался писать большой роман под названием

«Мечтатель». Тема эта всю жизнь волновала Достоевского. Образ мечтателя в «Белых ночах» автобиографичен: за ним стоит сам Достоевский.

Неудовлетворенность действительностью сближает молодого Достоевского и его героя-мечтателя. С одной стороны, Достоевский утверждает, что призрачная жизнь есть грех, так как она уводит от настоящей действительности, а с другой — подчеркивает творческую ценность этой искренней и чистой жизни, ее влияние на вдохновение художника: «Он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу».

В рассказе героя о ночных грезах слышится голос самого писателя. Вот почему «Белые ночи» написаны от первого лица, в форме исповеди, и тема мечтательства представлена в этой повести в таком волшебном поэтическом блеске, в таком очаровании молодости.

Это вдохновение художника покупается дорогой ценой, отрывом от действительности, духовным одиночеством. Мечтатель свободно парит в мире своей фантазии и не умеет ступать по земле. В письме к брату в 1847 году Достоевский точно формулирует «идею» мечтателя: «Видишь ли, чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. *Вне* должно быть уравновешено с *внутренним*. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх».

Достоевский рассматривает героя как разновидность типа «лишнего человека», а его трагедию — как трагедию вынужденного бездействия. «Многие ли наконец нашли свою деятельность? — пишет Достоевский в очерках „Петербургской летописи“. — ...В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называется мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*».

Это болезнь николаевской эпохи, подавлявшей в людях лучшую стремления, не дававшей им претвориться в жизнь, гасившей благородные порывы души. Отчаяние, разочарование, оцепенение, вызванные поражением декабристов, еще не прошли полностью, а силы, определившие подъем освободительного движения в 60-х годах, еще не созрели. Склонность к мечтам о высоком, ярком, необычном была присуща в молодости многим современникам Достоевского, впоследствии ставшим петрашевцами. В царство волшебных

снов их привлекало героическое, великое, то, чего не было в тусклой и прозаической действительности. Но Достоевский и петрашевцы сумели отказаться от неясных и расплывчатых грез в пользу демократических идеалов, сумели, по выражению известного поэта и критика начала нашего века Иннокентия Анненского, бесстрашно погрузиться в самую гущу жизни и тем убить в себе «бледного мечтателя», прячущегося в свою раковину от малейшего соприкосновения с неумолимою действительностью. Герой же «Белых ночей» не порвал с туманными грезами, хотя и осознал пагубность увлечения ими.

«Белые ночи» — повесть об одиночестве человека, не нашедшего себя в несправедливом мире, о несостоявшемся счастье. В «Белых ночах» есть тема отнятой любви и бесплодной мечты, но это не главное. Для Достоевского важен ее характер, оказывающий влияние на человеческую душу. Герою «Белых ночей» неведомы эгоистические побуждения. Он готов всем пожертвовать для другого и стремится устроить счастье Настеньки, ни на минуту не задумываясь над тем, что любовь к нему Настеньки — единственное, что он может получить от жизни. Любовь мечтателя к Настеньке озарена нежным светом петербургских белых ночей. Это чувство бескорыстно, доверчиво и так же чисто, как белые ночи. Мечтатель благоговееет перед святыней любви, душа его переполнена ею. Любовь к Настеньке спасает его от «греха» мечтательства и утоляет жажду настоящей жизни.

Но участь его печальна. Он снова одинок. Однако безысходного трагизма здесь нет. Мечтатель благословляет своего доброго гения: «Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!»

«Белые ночи» — своеобразная идиллия. Все, казалось бы, неразрешимые вопросы разрешаются легко, по договору. Это утопия о том, какими могли бы быть люди, если бы обнажили все свои лучшие чувства. Это скорее мечта о другой, красивой жизни, чем отражение действительности. В любви Настеньки к двоим нет греховности, это — братская любовь. Достоевский изъясил героев из повседневности и поместил в утопическую среду прозрачных и призрачных белых ночей, где есть свои горести и несчастья, но где все чисто и благородно, где нет и тени зла. «О боже! если бы я могла любить вас обоих разом! — пишет Настенька в прощальном письме. — О, если б вы были он!.. Вы будете вечно другом, братом моим».

Счастье — это не жизненная удача, а простое, искрен-

нее проявление жизни, пусть даже печальное или трагическое,— вот мысль Достоевского. Но писатель пронизывает тему человеческого счастья идеей всеобщего братства, мечтой о новых людях и новой жизни. «Послушайте,— говорит Настенька,— зачем мы все не так, как бы братья с братьями?»

Об этом же мечтает и герой повести «Слабое сердце» Вася Шумков. «Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! — обращается к нему Аркадий.— Ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься... Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым!»

Но если невозможно, чтобы сразу «все враги помирились», чтобы «все сделались разом счастливыми», то и Вася не может быть счастлив: «Аркаша! Я недостойн этого счастья!.. Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я!..» И эта мука о всех сводит Васю с ума. Ему мало личного счастья, ему необходимо всемирное счастье, рай на земле. На меньшее мечтатель никогда не согласится, так уж он устроен.

Не согласен на меньшее и сам Достоевский. Он готов повторить вслед за простодушной Настенькой в «Белых ночах»: «Зачем мы все не так, как бы братья с братьями?» Но слова эти свидетельствовали об увлечении писателя в это время утопическим социализмом.

## *Глава четвертая*



Ранним утром 22 декабря 1849 года к обер-комендантскому дому Петропавловской крепости в Петербурге подъехало множество карет и стянулись отряды конной жандармерии. На крепостной двор выводили узников и поодиночке рассаживали в кареты, причем рядом с каждым заключенным садился солдат. Кареты выехали из крепости, пересекли Неву и направились к Семеновскому плацу.

На казнь везли государственных преступников, участни-

ков кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Их арест весной 1849 года произвел настоящий фурор в столичном обществе. Правда, слухи были самые различные и самые фантастические. Одни, например, передавали, что тайная полиция открыла заговор против самодержавия, другие говорили, что в кружке проповедовали социализм, политические свободы и освобождение крестьян.

На Семеновском плацу узников вывели из карет и здесь, перед эшафотом, Достоевский впервые увидел после долгих месяцев одиночного заключения в Петропавловской крепости своих товарищей по кружку М. В. Буташевича-Петрашевского...

Но как Достоевский-мечтатель оказался среди петрашевцев? Участие Достоевского в революционных кружках было абсолютно закономерным, и тот Достоевский, каким он был в конце 40-х годов, непременно должен был рано или поздно оказаться среди петрашевцев.

В 1873 году в «Дневнике писателя» Достоевский дал точное определение своей романтической юности: «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райски-нравственном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей».

Романтическое «мечтательство», шиллеровский идеализм, французский утопический социализм, Жорж Санд и Бальзак и раннее пробуждение под их влиянием общественных интересов, протест против социальной несправедливости в ранних произведениях — в «Бедных людях», «Двойнике», «Слабом сердце», «Господине Прохарчине», «Хозяйке», знакомство через Белинского с новейшими социалистическими и коммунистическими теориями и, наконец, попытка вместе с братьями Бекетовыми сделать опыт общественной равноправной «ассоциации», — вот важнейшие штрихи духовной биографии молодого Достоевского, подготовившие его к участию в кружке петрашевцев.

Но и сравнение Достоевским в «Дневнике писателя» зародившегося социализма с христианством не было случайным. Наоборот, социальный утопизм, системы Сен-Симона, Фурье, Прудона молодому поколению 40-х годов, беспокой-



ному и ищущему, казались осуществлением на земле христианских заветов, евангельской правды, а у самого Достоевского вера в наступление золотого века, мечта о всемирном братстве, когда все будут «как братья с братьями», говоря словами Настеньки в «Белых ночах», во многом зиждились также на именах Виктора Гюго, Жорж Санд, Бальзака. Он считал их произведения новым христианским искусством, призванным обновить мир и осчастливить человечество, и это новое искусство соединялось в сознании молодого писателя с утопическим социализмом.

Идея всемирного братства людей, золотого века, всеобщего счастья — самая дорогая мечта писателя с юношеских лет и до конца его дней...

7 апреля 1849 года петрашевцы в Петербурге торжественным обедом в складчину отмечали день рождения французского философа-утописта Шарля Фурье (1772—1837). Служащий департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел титулярный советник Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821—1866) собрал группу интеллигентов, мечтающих об общественных преобразованиях в России. Молодой чиновник Дмитрий Ахшарумов, глядя на большой портрет Фурье, специально выписанный из Парижа для этого дня, произнес застольную речь.

«Мы... празднуем грядущее искупление всего человечества — сегодня, именно сегодня — в день рождения Фурье, — восторженно говорил он, — празднуем день его рождения, чтим его память; *его*, потому что он указал нам путь, по которому идти... всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, в жизнь веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах — вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий...»<sup>25</sup>.

Ни Ахшарумов, ни выступившие также с застольными речами М. В. Буташевич-Петрашевский, А. В. Ханьков, И. М. Дебу не подозревали даже, что приставленный к петрашевцам полицейский агент донесет об их очередной встрече, а сам торжественный обед и речи в честь французского мыслителя будут скоро поставлены им в вину как одно из преступлений, караемых смертной казнью.

Познакомившись с М. В. Буташевичем-Петрашевским весной 1846 года, Достоевский сначала берет в его библиотеке книги социалистов-утопистов, а потом становится частым посетителем «пятниц» в его деревянном двухэтажном доме по Садовой улице в районе старой Коломны. Вначале

на собраниях бывало около двадцати человек, а перед арестом кружка — до пятидесяти. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, причем вход на «пятницы» был свободный. «Ко мне всякий мой знакомый водил кого хотел», — признавался Буташевич-Петрашевский следственной комиссии. Это в конечном счете и сгубило петрашевцев, так как на собрания к ним свободно ходил агент полиции.

И все же посетители «пятниц» в основной своей массе не были случайными людьми. Буташевич-Петрашевский приглашал к себе, как потом запишет следственная комиссия, «преимущественно из воспитателей, молодых литераторов и студентов... чтобы потрясать умы социальными книгами, разговорами и речами», причем цель, поставленная Буташевичем-Петрашевским, состояла в том, чтобы «мало-помалу нанести удар правительству и настоящему порядку вещей».

Если вначале «пятницы» были заполнены главным образом литературными спорами или простым знакомством с западноевропейскими общественно-экономическими теориями социалистов-утопистов или отвлеченными дискуссиями о социалистических учениях, то вскоре в квартире Буташевича-Петрашевского стали обсуждаться самые насущные и актуальные общественно-политические проблемы, все чаще и чаще стали высказываться мечты о справедливом общественном строе, освобождении человеческой личности от деспотизма и произвола.

Д. Ахшарумов в своих мемуарах «Записки петрашевца» (М.; Л., 1930) рассказывает, что «пятницы» представляли собой интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, петербургских новостях, — в общем, говорилось обо всем, причем громко и без всякого стеснения. Вот так и получилось, что о собраниях петрашевцев по пятницам практически знал весь Петербург.

Однако петрашевцы не были единодушны в своих политических взглядах. Среди них были и сторонники революционного пути решения вопросов общественного развития России путем организации тайного общества, создания тайной типографии, ведения революционной пропаганды среди солдат, подготовки крестьянских восстаний, и сторонники либерально-демократических реформ. Но те и другие полностью сходились в необходимости немедленного уничтожения крепостного права, проведения реформ, которые дали бы свободу слова, печати, гласный суд и т. д. «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, — говорил

Бутаевич-Петрашевский, — надо же приговор наш исполнить»<sup>26</sup>.

Многих петрашевцев, и прежде всего и главным образом Достоевского, интересует также христианско-социалистический характер утопии Фурье, и нравственный подход к общественным, социалистическим вопросам остался у писателя на всю жизнь. И когда в его последнем романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов рассуждает, о чем же могут говорить «русские мальчишки», когда они «поймали минутку»: «О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время», — то Достоевский вспомнил здесь разговоры о боге и социализме, которые вели «русские мальчишки» 40-х годов — петрашевцы.

Так, например, петрашевец К. И. Тимковский «взялся в одну из... пятниц... доказать путем чисто научным божественность Иисуса Христа, необходимость пришествия Его в мир на дело спасения»<sup>27</sup>, петрашевец А. И. Европеус заявил на следствии, что «характер теории Фурье есть религиозный»<sup>28</sup>, петрашевец К. М. Дебу показал, что «теория Фурье... поддерживает религиозные чувства»<sup>29</sup>. У поэта-петрашевца А. Н. Плещеева были такие стихотворные строчки: «И предстает вдали, как призрак, предо мною распятый на кресте Великий Назорей». Наконец, в той же речи на обеде в честь Фурье 7 апреля 1849 года Д. Ахшарумов сказал очень близкие Достоевскому слова: «Мы... должны... рестаурировать образ божий человека во всем его величии и красоте»<sup>30</sup>.

Но Достоевский не остановился на христианском социализме. В «Дневнике писателя» в 1873 году он рассказывает о том, как Белинский «бросился обращать его в свою веру»: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма... Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма он верил до безумия и без всякой рефлексии: тут был один лишь восторг. Но как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить эту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества...»

На смену утопическому социализму, понимаемому мно-

гими петрашевцами, в том числе и Достоевским, как христианский социализм, шел атеистический материализм. В середине 40-х годов Белинский, под влиянием Фейербаха, отрывается от Гегеля, самозабвенно увлекается естествознанием и точными науками и становится атеистом. В 1845 году он пишет А. И. Герцену: «В словах *бог* и *религия* вижу тьму, мрак, цепи и кнут»<sup>31</sup>. Белинский восстает на бога из любви к человечеству и отказывается верить в создателя, творца этого несовершенного мира. Через тридцать лет в последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы» Иван Карамазов повторит эти аргументы Белинского против бога.

Влияние Белинского было настолько велико, критик имел такой непререкаемый авторитет среди российской молодежи, каждое его слово воспринималось с таким откровением и имело такой колоссальный общественный резонанс, что его собственный переход к атеистическому материализму предопределил и эволюцию русского социализма в этом же направлении.

Правда, как вспоминает Достоевский об этих важнейших годах в его духовной биографии, «тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христа он [Белинский], как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. В непрерывном, неугасимом восторге своим Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием...»

Однажды, как пишет дальше Достоевский, Белинский сказал ему: «Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел».

И, обращаясь ко второму гостю и указывая на Достоевского, Белинский продолжал: «Мне даже умилительно смотреть на него: каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при ны-

нешних двигателях человечества». (Не вспомнил ли Достоевский эти слова Белинского, когда через двадцать лет стал создавать роман «Идиот», герой которого, князь Мышкин, — «князь Христос», как писатель называет его в черновиках, — появился в Петербурге в «наше время».)

Эти удивительные по своей исповедальной искренности воспоминания Достоевский заканчивает поразительным признанием: «В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял тогда все его учение».

Значит, Достоевский сам признается, что «страстно принял» атеистическое учение Белинского, хотя, очевидно, где-то в глубине души «сияющая личность самого Христа» с ним всегда оставалась. В том же «Дневнике писателя» за 1873 год писатель полнее раскрывает смысл атеистического учения критика и еще раз подтверждает влияние этого учения: «Все эти убеждения о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству и пр., и пр. — все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия».

Признавшись в том, что Белинский обратил его в свою атеистическую веру, писатель делает из этого обращения страшный и на первый взгляд довольно загадочный вывод: «Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорожку, в случае, если бы так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

Сергея Геннадьевича Нечаева, который хотел вместе со своими последователями-нечаевцами опутать всю Россию сетью тайных ячеек, возмутить массы, поднять кровавый бунт и все до основания разрушить, Достоевский заклеил в 1872 году в романе «Бесы» в образе Петра Верховенского. Но тогда что же означает это страшное и загадочное признание автора «сделаться... нечаевцем» в «дни... юности» «в случае, если бы так обернулось дело».

Смысл этого признания связан с деятельностью Достоевского в кружке петрашевцев и открылся только после смерти писателя...

Многие из узников так изменились за время заключения

в Петропавловской крепости, что с трудом узнавали друг друга, встретившись на эшафоте на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года. На середине площади, перед земляным валом, был сооружен деревянный помост квадратной формы, обнесенный по карнизу невысоким забором. Это был эшафот. Перед ним, выстроившись в каре, стояли войска, а на некотором расстоянии торчали вкопанные в землю три деревянных столба. На валу, несмотря на ранний час, собралась довольно большая толпа.

Подошел чиновник, и началась проверка. Он по списку называл фамилии, и по этим вызовам первым в ряду был поставлен Буташевич-Петрашевский, за ним — Спешнев, потом Момбелли. Достоевский стоял во второй тройке.

Когда проверка кончилась, появился священник с крестом и Евангелием в руках и повел преступников перед войсками. Шагая по рыхлому снегу и переговариваясь: «Для чего столбы у эшафота?» — «Привязывать будут, военный суд — казнь расстрелянием», — петрашевцы взошли по узенькой лестнице на эшафот, и их расставили по краям: по одну сторону 10 человек, по другую — 11. Позади каждого стоял жандарм.

На середину эшафота вышел чиновник в мундире и быстро начал объявлять приговор. Становясь напротив того петрашевца, чью фамилию он называл, чиновник излагал вину каждого в отдельности и заканчивал приговор неизменно словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием».

На осужденных надели предсмертное одеяние — белые капюшоны и балахоны. Петрашевец Д. Ахшарумов оставил подробное описание этой жуткой сцены:

«Взошел на эшафот священник — тот же самый, который нас вел, — с Евангелием и крестом... Он обратился к нам с следующими словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться... Кающемся Спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди...»

Никто из нас не отозвался на призыв священника — мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призвал к исповеди. Тогда один из нас — Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а

даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту...

Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками.. Потом отдано было приказание «колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац» [«На прицел»] — и вслед за тем группа солдат — их было человек шестнадцать, — стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли...»<sup>32</sup>.

Достоевский был во второй тройке, и жить ему оставалось не более минуты. Он вспомнил в эту последнюю минуту своей жизни брата Михаила и только сейчас, на эшафоте, в ожидании смертной казни, понял, как он его любит, успел обнять и проститься с Плещеевым и Дуровым, которые были рядом. Но чувствовал ли тогда Достоевский свою вину? Ведь это же с именем Дурова была связана «тайная» деятельность Достоевского среди петрашевцев, о чем следственная комиссия почти и не подозревала...

«Я поддерживал знакомство с ним [Петрашевским], — писал арестованный Достоевский в «объяснении» следственной комиссии, — ровно настолько, насколько того требовала учтивость, то есть посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже... В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, я был у него не более восьми раз... Впрочем, я всегда уважал Петрашевского, как человека честного и благородного»

Достоевский пытается доказать, что ничего преступного в его поведении не было: «В сущности, я еще не знаю доселе, в чем обвиняют меня. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил *вольнодумно* и что, наконец, прочел вслух литературную статью: «Переписку Белинского с Гоголем».

«Вольнодумство», по Достоевскому, сводилось к желанию добра своему отечеству, и здесь он как будто оправдался, а вот чтение знаменитого письма Белинского к Гоголю, где критик называл русский народ «глубоко атеистическим народом» и говорил, что России нужны «не проповеди», «не молитвы», а «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства», — было уже весьма серьезным обвинением против Достоевского и грозило ему смертной казнью

Шпион П. Д. Антонелли доносил: «В собрании 15 апреля [1849] Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским, и в особенности письмо Белинского к Гоголю... Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласогло и Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах»<sup>33</sup>.

Достоевский пытается запутать следствие, держится мужественно, а главное, за все время следствия он не выдал никого из своих товарищей.

Ни одним словом Достоевский не упомянул о существовании среди петрашевцев более узкого, но и гораздо более радикального кружка Сергея Федоровича Дурова (1816—1869). Но неожиданно следственная комиссия сама узнала о существовании кружка Дурова. И Достоевский виртуозно пытается притупить бдительность следственной комиссии, так как ему инкриминировалось и участие в революционной ячейке, и стремление иметь свою литографию (типография ему не ставилась в вину): «На вечерах у Дурова я бывал. Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей зимы. Нас сблизило сходство мыслей и вкусов; оба они, Дуров и особенно Пальм, произвели на меня самое приятное впечатление. Не имея большого круга знакомых, я дорожил этим новым знакомством и не хотел терять его. Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный. Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще... Скоро наши сходки обратились в литературные вечера, к которым примешивалась и музыка». А когда однажды Филиппов предложил литографировать сочинения кружка, минуя цензуру, то это вызвало гнев и возмущение всех членов кружка, и Достоевский убедил всех отказаться от плана Филиппова, а «после того собрались всего только один раз», так как «по болезни Пальма вечера совсем прекратились».

Только после смерти писателя выяснилось, что кружок Дурова был далеко не таким безобидным и уж во всяком случае не «чисто артистическим и литературным», каким пытался представить его следственной комиссии Достоевский. Кружок Дурова был образован наиболее радикальными посетителями пятниц Петрашевского, недовольными умеренностью большинства петрашевцев, стоявшими не за медленную пропаганду, а за революционную тактику и освобождение крестьян «хотя бы путем восстания».

Для того чтобы подготовить народ к восстанию, дуров-



цы — Спешнев, Филиппов, Мордвинов, Милютин, Момбелли, Григорьев, Достоевский — решили завести тайную типографию и выбрать комитет для непосредственного руководства из пяти членов, причем для соблюдения тайны «должно включить в одном из параграфов приема угрозу наказания смертью за измену; угроза будет еще более скреплять тайну, обеспечивая ее».

Знакомые строки, весьма напоминающие дисциплину и в пятерке Петра Верховенского в романе «Бесы», и в пятерке его прототипа Нечаева. Но весь смысл поразительных по откровенности слов Достоевского из «Дневника писателя» за 1873 год о том, что он мог бы сделаться нечаевцем во дни своей юности, стал полностью понятен только после смерти писателя, когда поэт А. Н. Майков решил рассказать об этом поэту А. А. Голенищеву-Кутузову и историку литературы П. А. Висковатову. Оказывается, в январе 1849 года Достоевский пришел к А. Н. Майкову и сказал, что ему поручено сделать Майкову следующее предложение: «Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун, у него не выйдет ничего путного, а что люди поделнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, П. Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе и Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. Я доказывал легкомыслие, беспокойность такого дела, и что они идут на явную гибель... И помню я — Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягая все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество и пр. ... «Итак — нет?» — заключил он. — «Нет, нет и нет». Утром, после чая, уходя: «Не нужно говорить об этом — ни слова». — «Само собой». Впоследствии я узнал, что типографический ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М-ва (Мордвинова. — С. Б.), которого я, кажется, и не знал; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе комиссии и по уходе домашние его сумели, не повредив печатей, снять дверь с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена.

Об всем этом деле комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех, избегших ареста, только я один и знал»<sup>34</sup>.

Однако центральной фигурой дуровского кружка был не Достоевский, а Николай Александрович Спешнев (1821—1882), сыгравший большую роль в творческой жизни писателя, да и лично имевший на него какое-то таинственное влияние. Вообще Спешнев для всех петрашевцев оставался загадкой. Еще до петрашевцев, за границей, он думал о создании тайного общества (в бумагах Спешнева, захваченных при его аресте, сохранился составленный им черновой проект обязательной подписки для вступления в «Русское тайное общество»).

По показаниям Момбелли, «Спешнев объявлял себя коммунистом, но вообще мнений своих не любил высказывать, держа себя как-то таинственно, что в особенности не нравилось Петрашевскому. Тот часто жаловался на скрытность его и говорил, что он всегда хочет казаться не тем, что есть».

Разные слухи ходили о его личной жизни: говорили, что он увез за границу чужую жену, которая покинула двух детей, а за границей отравилась от ревности, а Спешнев, действительно, пользовался большим успехом у женщин.

Петрашевцы оставались в совершенном недоумении относительно его манеры держать себя. Немногословный, он всегда держался особняком, и если предпринимались попытки втянуть его в разговор, то он как бы снисходил до него. Петрашевцы невольно ощущали некую дистанцию, которую Спешнев не старался разрушать.

Таким он и остался в памяти современников: холодным, неприступным, загадочным, даже несколько таинственным. (Правда, эта таинственность несколько померкла на следствии по делу петрашевцев, где он вел себя не лучшим образом.) К этому лично у Достоевского присоединяется ощущение огромной подчиняющей силы его. Не без внутреннего сопротивления Достоевский все больше и больше поддается его влиянию, в какой-то момент, по свидетельству С. Яновского, даже вообразив Спешнева «своим Мефистофелем»<sup>35</sup>

Общение с таинственным красавцем, жившим долго за границей, с загадочным романтическим прошлым, вдохновителем тайного революционного общества, проповедником атеизма, с холодным и скрытным человеком, наружность которого «никогда не изменяет выражения», вдохновило Достоевского через двадцать три года на создание в романе «Бесы» «главного беса» — Николая Ставрогина (и имя у них одинаковое)..

21 апреля 1849 года шеф жандармов граф А. Ф. Орлов представил царю подробную записку о деле петрашевцев и получил письменную резолюцию Николая I: «Я все прочел, дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь... С богом! Да будет воля его!»

В альбоме дочери своего старого знакомого А. П. Милюкова Достоевский, вернувшись через десять лет после каторги и ссылки, записал рассказ о своем аресте:

«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий и симпатический голос: «Вставайте!» Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое<sup>36</sup>, с подполковничьими эполетами. «Что случилось?» — спросил я, привстав с кровати. «По повелению...» Смотрю: действительно, «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля... «Эга, да это вот что!» — подумал я. «Позвольте ж мне...» — начал было я. «Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с», — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было... Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хотя я очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, прилично событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сели солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту, у Летнего сада<sup>37</sup>. Там было много ходьбы и народа. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал... Бесперывно входили голубые господа с разными жертвами.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — сказал мне кто-то на ухо. 23 апреля был действительно Юрьев день. Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем г[осподина] Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу». «Так это Антонелли!»

Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать...»<sup>38</sup>.

Отсюда петрашевцев направили в Петропавловскую крепость, Достоевского — в темный, глухой, каменный мешок страшного Алексеевского рavelина крепости. Полная изоляция от мира, даже передача книг вначале не была разрешена. Многие из петрашевцев не выдержали (например, сошел с ума В. П. Катенев), а Достоевский через двадцать пять лет рассказывал своему молодому другу, критику и историческому романисту Всеволоду Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал «Маленького героя» — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки?»<sup>39</sup>.

Находясь в заключении в Петропавловской крепости (причем следственная комиссия отнесла писателя к числу «наиболее опасных» преступников), не зная, что его ждет — смерть или каторга, Достоевский создает одно из самых светлых своих произведений — «Маленький герой». Это повесть о нежной и впечатлительной душе подростка, о его полудетской, полувзрослой преданности и любви, о пробуждении сознания у юного существа (Достоевского продолжает волновать тема его предыдущего, неоконченного из-за ареста произведения — романа «Неческа Незванова»). Писатель тонко анализирует чувство первой любви в подростке, его стыдливость и гордость, застенчивость и смелость. Мальчик влюбляется в прекрасную даму и становится ее рыцарем. Как настоящий рыцарь, он верно служит избраннице своего сердца и, чтобы заслужить ее благосклонность, совершает подвиг: скачет на необъезженной лошади. И больше того, он подлинно «рыцарским жестом» спасает свою даму от позора и гибели: возвращает ей в букете цветов найденное им письмо. Как и мечтатель «Белых ночей», одиннадцатилетний рыцарь бескорыстен в любви и стремится устроить чужое счастье.

В повести, написанной в тюрьме, мы находим то, что почти отсутствует в других произведениях Достоевского: небо, солнце, свет. «Маленький герой» — последнее докаторжное художественное слово писателя, прощание его со своей романтической молодостью.

Поразительная творческая самоотдача Достоевского в каменном мешке Петропавловской крепости (он признавался, что «выдумал» там «три повести и два романа»), его неуемная жажда чтения (когда разрешили получать книги, брат присылает ему Шекспира, Библию, сочинения святого Димитрия Ростовского, «Сказания русского народа» Сахарова, — знаменателен интерес Достоевского к религиозной литературе после атеизма Белинского: через тридцать лет на стиле жития Зосимы в «Братьях Карамазовых» отразится чтение в Алексеевском равелине сочинений святого Димитрия Ростовского), его работоспособность, — все это держалось на несокрушимой жизненной силе Достоевского (он писал из крепости: «жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь...»), на такой гигантской «жажде жизни», которая и помогла ему выдержать страшную сцену смертной казни, когда жить ему оставалось не больше минуты...

Следствие по делу петрашевцев закончилось. (Достоевский с честью выдержал все поединки с членом следственной комиссии, генерал-адъютантом Я. И. Ростовцевым, который охарактеризовал писателя: «Умный, независимый, хитрый, упрямый»<sup>40</sup>; а дочь писателя, Любовь Федоровна Достоевская считала, что ее отец вспомнил о своем следователе, создавая образ следователя Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании»<sup>41</sup>.)

17 декабря 1849 года генерал-аудиториат — высший военный суд — приговорил к расстрелу 21 петрашевца, в том числе и Достоевского. Правда, генерал-аудитор ходатайствовал о смягчении наказания, и Николай I решил помиловать всех петрашевцев. Окончательный приговор генерал-аудитора по делу писателя гласил: «Отставного поручика Достоевского за... участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства, посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на восемь лет». Николай I наложил резолюцию: «На четыре года, а потом рядовым»<sup>42</sup>. Но, помиловав приговоренных к смерти петрашевцев, царь, однако, выразил пожелание, чтобы до самой последней минуты заговорщики были уверены, что их расстреляют, и только после совершения обряда смертной казни следовало объявить о помиловании. В секретных документах предусматривались все подробности церемонии, причем Николай I лично интересовался всеми ее деталями:

размером эшафота, эскортом карет, мундиром казнимых и т. д. Несколько раз менялась инструкция, пока, наконец, 22 декабря 1849 года не состоялась эта жуткая инсценировка смертной казни.

Не все петрашевцы выдержали этот страшный обряд смертной казни (Григорьев сошел с ума). С петрашевцев сняли белые балахоны и капюшоны. На эшафот поднялись двое палачей. Они поставили на колени осужденных и у каждого над головой сломали шпагу. Затем каждый из осужденных получил арестантскую шапку, овчинный тулуп и сапоги, а на середину эшафота бросили груды кандалов. Двое кузнецов надевали на ноги осужденным тяжелые железные кольца и заклепывали их.

В тот же день, буквально через несколько часов после эшафота, Достоевский, только что видевший перед собой смерть, писал из Петропавловской крепости Михаилу:

«...Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал это... Да, правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!..

Знай, что я не уныл; помни, что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой, — это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!..

Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое».

Достоевский начинает уже ощущать высшую ценность

жизни, о которой так много будут потом говорить герои его послекаторжных произведений. Эшафот явился решающим событием в духовной биографии писателя. После обряда смертной казни жизнь Достоевского «переломилась», с прошлым было покончено, началось «перерождение в новую форму».

Через двадцать лет писатель сумел переплавить свои впечатления от смертной казни 22 декабря 1849 года в художественное творчество. В романе «Идиот» князь Мышкин рассказывает о последних минутах приговоренного к смертной казни: «...Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать; ему хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот, как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты уже будет «ничто», кто-то или что-то, так кто же? Где же? Все это он думал в те две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними...»

Петрашевец Ф. Львов вспоминает, что Достоевский сказал перед казнью Спешневу: «*Nous serons avec le Christ*» («Мы будем с Христом»), а Спешнев ответил с усмешкой: «*Un peu roussiégre*» («Горстью праха») <sup>43</sup>.

От Спешнева другого ответа никто и не ожидал, но каким же образом атеист Достоевский, страстно принявший, по его же признанию, все учение Белинского, перед самой смертью вдруг вспомнил Христа и заговорил о бессмертии души человеческой, воскресении? Может быть, действительно, несмотря на все принятие атеизма, «сияющая личность самого Христа» в Достоевском оставалась неприкосновенной, или под влиянием чтения в крепости Библии и творений святого Дмитрия Ростовского в нем в ожидании смерти началось, говоря его же словами, «перерождение в новую форму», то есть перерождение убеждений?

И то и другое. Но это было лишь начало, первые ростки, первые робкие, пока еще бессознательные шаги в перерождении убеждений Достоевского, так как в «Дневнике писателя» за 1873 год он сам отмечал: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния». Настоящее перерождение убеждений писателя, поворотный пункт в его духовной биографии произошел на каторге.



**КАТОРГА  
И ССЫЛКА**

•

24 декабря 1849 года, за несколько часов до отправки на каторгу, в комендантском доме Петропавловской крепости петрашевцы Достоевский и Дуров получили разрешение встретиться с Михаилом Достоевским и А. П. Милюковым. Через тридцать два года Милюков вспоминал об этом свидании:

«...Дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки... Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках... Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз. На вопросы о том, какво было содержание в крепости, Достоевский и Дуров с особенной теплотой отозвались о коменданте, который постоянно заботился о них и облегчал, чем только мог, их положение. Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшила их, и, конечно, в это время они не предчувствовали, как она отзовется на их здоровье...

Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.

— Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, — и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня... Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, — я даже не сомневаюсь, что увидимся... А вы пишете, да, когда обживусь — книгу присылайте, я напишу каких; ведь читать можно будет... А выйду из каторги — писать начну



В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу,— будет о чем писать...

Печально перезванивали колокольчики на крепостных часах, когда вошел плац-майор и сказал, что нам время расстаться. В последний раз обнялись мы и пожали друг другу руки... потом вышли и остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные... Выехали двое ямских саней, и на каждом сидел арестант с жандармом. «Прощайте!» — крикнули мы. «До свидания! до свидания!» — отвечали нам<sup>44</sup>.

Через пять лет после этого прощального свидания с братом Михаилом Достоевский в письме к нему из Омска от 22 февраля 1854 года описал свой путь на каторгу: «Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оставил меня, нас повели троих, Дурова, Ястржембского и меня заковывать... Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдфебель впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце, и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживил меня, и так, как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я, в сущности, был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности. ...Нас везли пустырем по Петербургской, Новгородской, Ярославской и т. д. Я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в теплых комнатах. Но, чудно: дорога поправила меня совершенно... Грустна была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель, граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошедшее — грустно было, и меня прошибли слезы... 11 января мы приехали в Тобольск... Ссылные старого времени (то есть не они, а жены их) заботились об нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением!»

Спустя двадцать пять лет после декабристов на каторгу везли петрашевцев. В Тобольске Дуров, Ястржембский и Достоевский пробыли около недели в январе 1850 года в общей тюрьме, на пересыльном дворе, вместе с уголовниками (их отделяла лишь тонкая перегородка). Когда они оказались в холодной, темной и грязной камере, то Ястр-

жембский пришел в такое отчаяние, что решил покончить с собой. Его спас Достоевский. «Совершенно нечаянно и неожиданно мы получили сальную свечу,— вспоминает Ястржембский,— спички, и горячий чай, который нам показался вкуснее нектара... У Достоевского оказались превосходные сигары... В дружеской беседе мы провели большую часть ночи. Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения. Мы расстались с Достоевским и Дуровым в тобольском остроге, поплакали, обнялись и больше уже не видались...»<sup>45</sup>.

В Тобольске произошло незабываемое событие, сыгравшее, после эшафота, важнейшую роль в духовной биографии Достоевского. Жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина добились («умолили», по словам Достоевского) тайного свидания с петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский вспоминал: «Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, разрешенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге».

Рассказывая в «Дневнике писателя», как он принял атеистическое учение Белинского и «может... мог бы... во дни... юности» «сделаться» «нечаевцем», Достоевский задавался вопросом, как это могло произойти: «Я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства... Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было чем-то торжественным».

Однако детская вера была хрупкой, и молодой Достоевский оказался бессилем перед атеистическим учением Белинского, и оно «захватило его сердце». Новая встреча с Христом произошла на каторге, когда Достоевский читал одну книгу — Евангелие. Непосредственное же приобщение к страданиям русского народа на каторге ускорило процесс перерождения убеждений Достоевского.

Когда Достоевского и Дурова после шести дней пребывания в Тобольской тюрьме повезли под стражей в середине января 1850 года в Омский каторжный острог, две женщины поджидали экипажи на омской дороге: жена декабриста Наталья Дмитриевна Фонвизина и близкий друг ее семьи

Мария Дмитриевна Францева. Позднее М. Д. Францева вспоминала: «Узнав о дне их отправления, мы с Натальей Дмитриевной выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный. Отправившись в своих санях пораньше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтобы не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощания; тем более, что я должна была еще тайно дать жандарму письмо для передачи в Омске хорошему своему знакомому, подполковнику Ждан-Пушкину, в котором просила его принять участие в Достоевском и Дурове. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди. Я отдала приготовленное письмо к Пушкину жандарму, которое он аккуратно и доставил ему в Омске. Они снова уселись в свои кошевы, ящик ударил по лошадям, и тройки помчали их в непроглядную даль их горькой участи. Когда замер последний звук колокольчиков, мы, отыскав наши сани, возвратились чуть не окочевевшие от холода домой»<sup>46</sup>.

23 января 1850 года Достоевский был доставлен на каторгу в Омскую крепость и зачислен в арестантскую роту № 55 «чернорабочим», как было определено в «Статейном списке» крепости.

Попытка в 1852 году «благородных людей», как называл их в письмах сам Достоевский, официально-административным путем хоть сколько-нибудь смягчить участь «чернорабочего»-колодника, «повергаемо было на высочайшее государя императора воззрение, но монаршего соизволения на сие представление не последовало»<sup>47</sup>.

Тогда-то и проявилось то чувство человеческой солидарности, то чувство сострадания к чужой беде, к чужому горю, тот неписанный закон братской помощи униженным и оскорбленным, которые хоть в чем-то облегчили участь Достоевского-каторжника. «Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь,— писал Достоевский 18 октября 1855 года жене декабриста Полине Егоровне Анненковой,— Вы и все превосходное семейство Ваше брали и во мне и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие», а знакомство с ее дочерью Ольгой Ивановной Ивановой «будет всегда одним из лучших воспоминаний моей жизни... Ольга Ивановна протянула мне руку, как родная сестра, и впечатление этой прекрасной, чистой души, возвышенной и благородной, останется свет-

лым и ясным на всю мою жизнь... Я с благоговением вспоминаю о Вас и всех Ваших».

С огромным риском медики Омского военного госпиталя корпусный штаб-доктор И. И. Троицкий и старший фельдшер А. И. Иванов пытались помочь арестанту Достоевскому, нередко госпитализируя его как больного, остро нуждающегося в медицинской помощи. Именно в госпитале Достоевский хотя бы ненадолго приходил в себя после тяжелой каторжной жизни.

Дочь писателя, Любовь Достоевская, в немецком издании своей книги об отце подтверждает разбросанные в его письмах намеки, что комендант Омской крепости генерал-майор А. Ф. де Граве знал о заботе И. И. Троицкого и А. И. Иванова, так как сам благоволил к Достоевскому и тоже старался облегчить ему жизнь на каторге<sup>48</sup>.

И все же никакая человеческая солидарность, ни закон братской помощи, ни поддержка благородных людей не могли спасти Достоевского от ужасов каторги, от «страдания невыразимого, бесконечного», причем наиболее тягостным испытанием была не непосильная работа, не чудовищные условия жизни, а жестокое и безжалостное унижение человека, попрание его достоинства и чести, надругательство над его личностью.

Ведь кроме коменданта де Граве был еще плац-майор Кривцов, о котором Достоевский писал брату в первом письме после выхода из Омского острога: «Каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все, что только можно представить отвратительного». Писатель П. К. Мартынов приводит записанный им в свое время по свежим следам рассказ о том, как ослабевшего от болезни Достоевского, которого плац-майор Кривцов застал лежащим на нарах, этот самодур приказал отвести в кордегардию и наказать розгами,— только вмешательство коменданта крепости спасло от этого садистского истязания<sup>49</sup>.

13 февраля 1882 года в тифлисской газете «Кавказ» некто Алексей Южный (возможно, под этим псевдонимом скрывался историк и педагог Алексей Александрович Андриевский) опубликовал воспоминания бывшего каторжанина поляка А. К. Рожновского о пребывании Достоевского в Омском остроге. Автор публикации утверждает, что познакомился со стариком Рожновским летом 1880 года в Старой Руссе и тот незадолго до смерти рассказал ему о совместной каторжной жизни с Достоевским. Это страшные воспоминания. Рожновский поведал о том, что Достоевского поролли в остроге розгами за то, что он пытался вступить за арестантов. Именно после этих истязаний на ка-

торге, по утверждению Рожновского, у Достоевского и начались припадки эпилепсии.

В письме к младшему брату писателя Андрею Михайловичу от 16 февраля 1881 года друг молодости писателя врач А. Е. Ризенкампф также утверждает, что плац-майор Кривцов «подверг его телесному наказанию», и тоже связывает с этим случаем первый припадок эпилепсии у Достоевского<sup>50</sup>.

Однако анализ других, совершенно разнотипных свидетельств позволяет со всей определенностью утверждать, что Достоевский на каторге все же не подвергался телесному наказанию<sup>51</sup>. (Если же говорить о сроках начала заболевания эпилепсией, то точно нельзя сказать, когда она началась, да и сам Достоевский на этот счет высказывался поразному; несомненно только одно — каторга не могла не способствовать развитию этого заболевания.)

Но сам по себе тот факт, что Достоевский мог подвергнуться телесному наказанию, лучше всего говорит о той страшной обстановке, которая послужила материалом для романа «Записки из Мертвого дома» и для эпилога к роману «Преступление и наказание». Достоевский сам подтвердил поразительную правдивость соответствия своей биографии этим произведениям в письме к брату Михаилу от 22 февраля 1854 года: «Жили мы в куче, все вместе в одной казарме... Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать... Затопят шестью поленами печку, тепла нет, а угар нестерпимый, и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водой... Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются, и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая... Блох, вшей и тараканов четвериками... В пост капуста с водой и больше ничего. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен... и если бы не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы... Прибавь ко всем этим неприятностям почти невозможность иметь книгу... вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крики, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемен,— право, можно простить, если скажешь, что было худо...»

Но четыре года «страдания невыразимого, бесконечно-го» явились поворотным пунктом в духовной биографии Достоевского. В страшный миг эшафота, когда жить ему остается не больше минуты, в нем начинается умирать «старый человек». Постепенно рождается «новый человек», начинается «перерождение убеждений».

Однако не тяжелый каторжный быт, не ужасы каторги больше всего потрясли Достоевского. Больше всего поразил писателя тот факт, что острожники с ненавистью встретили их — дворян — за их атеизм, за их безверие, за бунт, за стремление свергнуть царя. Наоборот, они верят в бога, любят царя и всякий бунт осуждают как барскую затею.

Такой вывод писателя не всегда совпадал с реальной «идеологией» и «практикой» острожников, но он искренно, полностью и до конца поверил в это совпадение, и наряду с чтением Евангелия это имело решающее влияние на перерождение убеждений Достоевского. И он был, пожалуй, единственным среди всех петрашевцев, кто «в каторге между разбойниками, в четыре года, отличил, наконец, людей», как признавался Достоевский в том же письме к брату от 22 февраля 1854 года, а затем продолжал: «Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны... Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно... Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно, если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Постепенно расшатывалась старая «вера», незаметно выросло новое мировоззрение. В «Дневнике писателя» Достоевский признается: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений... История перерождения убеждений, — разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история более полная захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений, — ведь это и прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтобы сознательно следить за этим глубоким таинством своей души».

Перерождение убеждений началось с беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью. «Помню, что все это время, — писал впоследствии Достоевский о своей каторге, — несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одиноким душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни

этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решал, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде... Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе... Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых. Экая славная минута!»

В первом же послекаторжном письме к Н. Д. Фонвизиной Достоевский рассказывает ей, в каком направлении шло перерождение его убеждений: «...Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».

Отныне и навсегда «сияющая личность» Христа заняла главное место в новом мирозерцании Достоевского. В 1874 году он говорил своему молодому другу Всеволоду Соловьеву о значении каторги для его духовного развития: «...Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... Я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно»<sup>52</sup>.

Из революционера, атеиста рождается верующий человек. Но нравственно-религиозная организация общества связывается у бывшего пропагандиста утопического социализма с мечтой о «золотом веке», о земном рае, о братстве всех людей. Показывая широкую и исторически правдивую картину общественной жизни России своего времени, писатель всегда оставался «реалистом в высшем смысле». До конца своих дней Достоевский сохранил верность гуманистическим идеалам братства народов и социальной гармонии, основанной на совершенстве и счастье каждого отдельного человека. Но христианская вера была им все-сторонне выстрадана.

После каторги и ссылки религиозная тема становится центральной темой творчества Достоевского. В 1870 году он писал своему другу, поэту А. Н. Майкову: «Главный вопрос..., которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь,— существование божие».

Эпилог «Преступления и наказания» имеет автобиографическую ценность. Эволюция Раскольникова от «безбож-

ника» (однажды каторжники «все разом напали на него с остервенением: «Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника») к вере — это эволюция и самого Достоевского на каторге...

15 февраля 1854 года писатель навсегда покинул Омский острог. Срок каторги истек, дальше полагалась служба рядовым в ссылке. В ожидании определения места службы Достоевский прожил почти месяц в доме зятя декабриста Анненкова К. И. Иванова, старшего адъютанта Отдельного Сибирского корпуса. Здесь, в Омске, в 1854 году Достоевский познакомился, а впоследствии и подружился с офицером-казахом Чоканом Валихановым — первым ученым своего народа, этнографом, фольклористом, историком. Достоевский сумел предсказать его блестящую будущность и замечательную известность. В марте 1854 года, после зачисления рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон, стоявший в Семипалатинске, Достоевский был по этапу доставлен в Семипалатинск.

Через неделю после выхода из каторги Достоевский писал брату Михаилу: «На душе моей ясно. Вся будущность моя и все, что я сделаю, у меня как перед глазами. Я доволен своей жизнью». И все же, хотя Достоевский ясно и представлял себе солдатчину (брату он писал перед отправкой в Семипалатинск: «Попадешь к начальнику, который не взлюбит, придется и погубит или загубит службой»), он в действительности еще не знал ее.

Служба в сибирских войсках была тяжелая. Целый день солдаты проводили на площади: ученье, смотры, парады, а ночью непременно куда-нибудь в караул. Поступив в батальон, писатель должен был повторить, точнее, даже заново пройти строевую службу. В маленьком городке, где была каменная церковь, несколько мечетей и казарма, а немногочисленное население состояло из чиновников, офицеров, солдат и купцов-татар, Достоевский сначала общался в основном только с солдатами в казарме. Его седьмой батальон пополнялся рекрутами из крепостных, полуграмотными горожанами, которые не могли по бедности откупиться, и наемными — часто явно преступным элементом, мало чем отличавшимся от каторжников.

Но это был уже другой Достоевский, совсем не тот, который четыре года назад попал в Омский каторжный острог. Он писал брату из Семипалатинска: «Как ни чуждо все это тебе, но я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь, со всеми обязанностями, не совсем-



то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой, или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием, в подобных занятиях. Чтобы приобрести этот навык, надо много трудов. *Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил* (курсив наш.— С. Б.).

Эти слова характеризуют новое мировоззрение Достоевского, который теперь уже начал считать революционный период своей жизни отречением от Христа и грехом против русского народа. Когда однажды ему сказали: «Какое, однако, несправедливое дело ваша ссылка!», писатель сразу же возразил: «Нет, справедливое: нас бы осудил народ»

Теперь становится понятным, почему Достоевский довольно легко ужилась с темной казарменной массой и спокойно переносил грубые солдатские выходки и даже оскорбления. Благодаря его уступчивости и терпимости не было ни одного недоразумения.

Первое время Достоевский мало выходил в город. Соседом его по нарам оказался молодой солдат, крещеный еврей Н. Ф. Кац. У Каца был самовар, он угощал чаем своего молчаливого, хмурого товарища и удивлялся спокойствию, с которым тот переносил грубость и невзгоды солдатской жизни. А Достоевский, когда мог, оказывал услуги юноше и помогал ему.

Позднее Достоевскому было разрешено поселиться на частной квартире, и он снял комнату в кривой бревенчатой хате, стоявшей на пустыре на краю города. Он платил пять рублей в месяц за «пансион»: щи, каша, черный хлеб. В низкой полутемной комнате, где вся мебель состояла из кровати, стула и стола, было множество блох и тараканов. Хозяйка, солдатская вдова, и ее две дочери, двадцатилетняя и шестнадцатилетняя, пользовались дурной репутацией, но младшая была очень хороша собой, и Достоевский подружился с ней. После четырех лет каторги каждая новая встреча с женщиной производила на него неизгладимое впечатление.

Именно такой оказалась встреча на семипалатинском базаре с семнадцатилетней Лизой Неворотовой, торговавшей калачами с лотка. Красивая девушка, у которой была нелегкая трудовая жизнь (она поддерживала всю свою семью), полюбила солдата Достоевского за его теплое к ней отношение, заботу и внимание. Достоевский писал ей нежные письма, называл ее «Лизанькой». Елизавета Неворотова хранила их до самой смерти и никому не хотела пока зывать.

Многие годы спустя ее племянница Н. Г. Никитина, показывая сибирскому журналисту Н. Феоктистову эти

письма Достоевского, рассказывала: «Письма были длинные, написанные одинаковым, но нервным почерком Достоевского. Были в них пояснения и ответы на письма Елизаветы Михайловны Неворотовой, которая, как сирота, одинокая девственница, воспитавшая большую семью сестер и братьев, считала этот крест непосильным, но, заглушая в себе свои интересы к жизни и возможному счастью, она считала жертву необходимой... Естественно, что Достоевский, человек в высшей степени чуткий, психолог, писатель и художник, сам носивший в душе неизгладимое, переживаемое горе и печать неизжитого страдания,— не остался глух к письмам тетушки. Пожалуй, он подкреплял ее в борьбе и неясности жизни и утешал ее тем, что задача ее велика, назначение свято, что она, как скульптор, может из того детского материала, который в ее распоряжении, вылепить хорошие изваяния, придав чертам будущего желательное направление честного человека и хорошего борца...

То искреннее и теплое чувство, которым были пропитаны послания Достоевского, говорит уже о том, что он сам был рад возможности взяться за перо и писать человеку, бесхитростно ориентирующемуся в своих переживаниях»<sup>53</sup>.

К сожалению, эти письма Достоевского бесследно исчезли, но не явилась ли эта Елизавета Михайловна первым толчком к созданию писателем образов смиренных и кротких женщин, без ропота несущих свой крест (как в себе, так и в других Достоевский уже научился ценить это), и прежде всего сестры старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании» Лизаветы (совпадение имен не случайное).

Но в личной жизни Достоевского эти знакомства в первые месяцы его семипалатинской ссылки не оставили, вероятно, значительного следа, так как скоро в его жизнь вошла первая настоящая большая любовь, женщина, которую он полюбил со всем пылом своей страстной натуры.

Первая большая любовь писателя совпала с появлением в Семипалатинске человека, который стал его добрым ангелом, свидетелем и поверенным этой любви...

«Достоевский не знал, кто и почему его зовут, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской серой шинели... угрюм, с болезненно-бледным лицом, покрытым веснушками. Светло-русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими умными, серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу,— что, мол, я за человек? Он признавался мне впоследствии, что был очень озабочен, когда

посланный мой сказал ему, что его зовет «господин стряпчий уголовных дел». Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письма, посылки и паклоны и сердечно разговорился с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив...»<sup>54</sup>.

Так начинаются «Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг.», которые в 1912 году выпустил престарелый барон Александр Егорович Врангель. Прожив долгую и интересную жизнь (он родился в 1833 году), барон за три года до смерти понял, что самое дорогое, что послала ему судьба,— это два года жизни и дружбы с Достоевским в Семипалатинске.

Появление молодого прокурора Врангеля в Семипалатинске зимою 1854 года показалось Достоевскому подарком судьбы. Несмотря на внешне неприступный вид, Александр Егорович Врангель был очень добрый и отзывчивый человек, с нежным и пылким сердцем и с романтическим воображением. Он чем-то напоминал Достоевскому его самого в молодости, до эшафота и каторги. Может быть, поэтому их знакомство быстро перешло в тесную дружбу: после Шидловского и брата Михаила Врангель был третьим человеком, которому Достоевский полностью раскрылся. Больше того, на протяжении многих лет писатель был с Врангелем более откровенен, чем с кем бы то ни было.

Врангель искренно привязался к Достоевскому и в письме к своему отцу признавался: «Судьба сблизила меня с редким человеком, как по сердечным, так и по умственным качествам: это наш юный несчастный писатель Достоевский. Ему я многим обязан, и его слова, советы и идеи на всю жизнь укрепят меня... Он человек весьма набожный, болезненный, но воли железной».

Сразу же после знакомства с Достоевским Врангель стал помогать ему со всем пылом своего «благородного сердца». Он познакомил рядового Достоевского с военным губернатором П. М. Спиридоновым, и с этого момента ссыльного писателя стали принимать в домах именитых граждан Семипалатинска. (Правда, люди высокой культуры чаще встречались среди приезжих: кроме Чокана Валиханова, это был, например, географ П. П. Семенов, с которым Достоевский познакомился еще в Петербурге,— впоследствии знаменитый П. П. Семенов-Тянь-Шанский, или художник П. Кошаров, сопровождавший экспедицию П. П. Семенова.)

Через несколько месяцев после приезда в Семипалатинск Достоевский знакомится с бедным таможенным чиновником Александром Ивановичем Исаевым и его женой

Марией Дмитриевной (урожденной Констант, по деду французенкой) и страстно влюбляется в нее.

Еще перед отъездом в Семипалатинск Достоевский писал жене декабриста Наталье Дмитриевне Фонвизиной, четыре года назад благословившей его в новый путь: «Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени, должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то, и что будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может быть, грозное, но во всяком случае неизбежное».

Пророческое предчувствие перелома в судьбе не обмануло Достоевского. В 1854 году Марии Дмитриевне Исаевой было двадцать девять лет. «Довольно красивая блондинка среднего роста, — вспоминает семипалатинский друг Достоевского Александр Егорович Врангель, — очень худощавая, натура страстная и экзальтированная... Она была начитана, довольно образована, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна»<sup>55</sup>.

Судьба ее была глубоко несчастна. Дочь начальника астраханского карантина, учившаяся в пансионе и танцевавшая «с шалью» на дворянских балах (почетная привилегия особо отличившихся воспитанниц закрытых учебных заведений: в «Преступлении и наказании» «при выпуске с шалью танцевала» Катерина Ивановна Мармеладова, в образе которой нашли отражение многие черты характера Марии Дмитриевны Исаевой), вышла замуж, как оказалось, за довольно слабовольного человека — Александра Ивановича Исаева. Потеряв службу и оставшись без места и без всяких средств к существованию, он горько запил и вскоре совсем опустился.

Пьяница муж, постоянная бедность, убогая провинциальная беспросветная жизнь — такова была жалкая судьба пылкой мечтательницы. И вдруг в этом «темном царстве» появился «луч света» — рядовой Сибирского 7-го линейного батальона Федор Достоевский. Он, конечно, «человек без будущего», так как попал в политическую историю и навсегда останется рядовым, но ведь он писатель, а среди ее знакомых никогда не было ни одного из этого сословия; к тому же человек несомненно интересный и талантливый, а главное, смотрит на нее влюбленными глазами.

Она приблизила к себе Достоевского, хотя далеко не всегда отвечала ему взаимностью, считая его «человеком без будущего». А писателя целиком захватила эта первая большая любовь, тем более что и внешний вид Марии

Дмитриевны — хрупкий и болезненный, — какая-то душевная беззащитность вызывали в нем постоянное желание помочь ей, оберегать ее, как ребенка. К тому же она приняла в нем сердечное участие, ввела в свой дом, вместе с Врангелем помогла ему найти путь в местное общество. Все это не могло не вызвать в рядовом Достоевском глубокой благодарности, привязанности и беспредельной преданности.

Но главное, она была несчастна, она мучилась, а еще на каторге, сам бесконечно страдая, он все четыре каторжных года думал о том, что такое страдания, какова их роль в жизни и судьбе человека. Страдания, по мысли Достоевского, дают человеку ключ к сочувственному пониманию чужих несчастий, чужого горя, делают его нравственно более чутким. Вот почему мучения Марии Дмитриевны привлекли внимание Достоевского как писателя и вызвали в нем как в человеке немедленное желание помочь любимой женщине. А любить, по Достоевскому, значит уметь жертвовать собой и всем сердцем, всей душой откликаться на муки любимого человека, даже если бы для этого пришлось самому страдать и мучиться.

Но ведь и судьба самого Достоевского была трагична, и это взаимное сострадание друг к другу и послужило, вероятно, причиной того, что отношения рядового Сибирского 7-го линейного батальона с супругой спившегося чиновника Исаева приняли, если можно так сказать, какой-то неправильный характер: иногда сострадание принималось за любовь, а любовь за сострадание, а чаще всего они так неразрывно переплетались вместе, что невозможно было отличить одно от другого.

И вдруг катастрофа: в мае 1855 года Исаев получил место в Кузнецке, за шестьсот верст от Семипалатинска, и Достоевскому пришлось расстаться с Марией Дмитриевной, и это как раз в те дни, когда он поверил в ее взаимное чувство. Отчаяние Федора Михайловича было беспредельно, он ходил как помешанный.

«Сцену разлуки я никогда не забуду, — вспоминает Александр Егорович Врангель, — Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок... Тронулся экипаж, ... вот уже еле виднеется повозка..., а Достоевский все стоит, как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам... Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень...»<sup>56</sup>.

По словам Врангеля, Достоевский был в восторге от Исаевой, все повторял, какая она замечательная, и удивлялся, что такая женщина ответила на его любовь. «Судя

по тому, как мне тяжело без вас,— пишет Достоевский Марии Дмитриевне чуть ли не на другой день после ее отъезда,—... я сужу о силе моей привязанности... Вы писали, что вы расстроены и даже больны. Я до сих пор за вас в ужаснейшем страхе... Боже мой! Да достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дразги, вас, которая может служить украшением всякого общества!.. Вы же удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты, вы были мне как родная сестра... Женское сердце, женское сострадание, женское участие, бесконечная доброта... Я все это нашел в вас...»

В августе 1855 года Достоевский получил от Марии Дмитриевны извещение о смерти ее мужа. Она оказалась в критическом положении: одна, без средств, в незнакомом ей Кузнецке, без родных и знакомых, с маленьким сыном на руках. Но Достоевский мог больше не скрывать своей любви, и он тотчас же предложил Марии Дмитриевне выйти за него замуж. Им руководили одновременно и желание спасти ее от нищеты, и чувство горячей любви, и стремление к браку (Достоевскому шел тридцать четвертый год).

Но Мария Дмитриевна в ответ на пылкие письма возлюбленного, настаивавшего на немедленном ее согласии на брак с ним, отвечала, что не знает, как ей поступить. Достоевский сознавал, что основной преградой к «устройству нашей судьбы», как она называла его предложение о браке, было его довольно жалкое социальное положение рядового, лишенного дворянства, бывшего каторжника.

Однако после смерти Николая I и восшествия на престол Александра II появилась надежда на улучшение участи бывших петрашевцев. 20 ноября 1855 года Достоевского произвели в унтер-офицеры. Это так окрылило его, что в начале 1856 года он сообщил брату о своем намерении жениться: «Мое решение принято, и хоть бы земля развалилась подо мною, я его исполню... Мне без того, что теперь для меня главное в жизни, не надо будет и самой жизни...»

Но из Кузнецка приходят тревожные вести: Мария Дмитриевна грустит, отчаивается, больна поминутно, окружена кумушками, которые сватают ей женихов. Достоевский любил со всей страстью поздней первой любви и вдруг получил «громовое известие», как писал он Врангелю 23 марта 1856 года: Мария Дмитриевна получила предложение от «человека пожилого, с добрыми качествами, служащего и обеспеченного» и просит у него совета, как ей поступить, «прибавляет, что она любит меня, что это одно еще предположение и расчет. Я был поражен, как громом, я за-

шатался, упал в обморок и проплакал всю ночь... Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь вам, что я пришел в отчаяние. Я понял возможность чего-то необыкновенного, на что бы в другой раз никогда не решился... Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! ангел мой! Она и так больна, а я растерзал ее! Я, может быть, убил ее моим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь ее».

Все письма к Врангелю этого периода, полные жалоб, сомнений, просьб, дышат страстью и отчаянием: «Я погибну, если потеряю своего ангела; или с ума сойду, или в Иртыш!» Однако переписка с самой Марией Дмитриевной принимает все более напряженный характер. Она все чаще упоминает о местном учителе начальной школы, друге покойного мужа Николае Борисовиче Вергунове, довольно красивом молодом человеке двадцати четырех лет.

Достоевский решается на отчаянный поступок. Получив служебную командировку в Барнаул, он тайно уехал из Барнаула в Кузнецк. Но вместо радостной встречи с любимой женщиной он попадает в ситуацию, уже описанную им в ранней повести «Белые ночи» и предвещающую ситуацию его будущего романа «Униженные и оскорбленные». Мария Дмитриевна бросилась Достоевскому на шею и, плача, целуя его руки, призналась, что полюбила Николая Борисовича Вергунова и собирается выйти за него замуж.

Достоевский молча выслушал ее признание, а затем, скрывая собственную страсть, начал обсуждать рассудительно возможный брак своей возлюбленной с учителем Вергуновым, который был еще беднее его самого, но зато имел два бесспорных преимущества перед ним: был молод и красив.

Мария Дмитриевна настаивает на встрече Достоевского со своим соперником. Во время этой встречи Вергунов плачет на груди у Достоевского («С ним я сошелся, он плакал у меня, но он только и умеет плакать!» — вспоминал писатель), сам Достоевский рыдает у ног своей возлюбленной, а Мария Дмитриевна в слезах примиряет соперников. Действительность как бы предвещает вымысел многих произведений Достоевского, и прежде всего романа «Униженные и оскорбленные».

И вдруг отвергнутый Достоевский, как и Мечтатель в «Белых ночах», как и Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных», решил принести в жертву собственную любовь ради нового чувства Марии Дмитриевны (ведь любить, по Достоевскому, значит уметь жертвовать собой) и не мешать своему счастливому сопернику.

И тут, совершенно неожиданно для Достоевского, произошёл психологический поворот. Мария Дмитриевна была настолько потрясена тем, что он не только ни разу ни в чем не упрекнул ее, а еще и заботился о ее будущем (точь-в-точь как Наташа в «Униженных и оскорбленных» говорит Ивану Петровичу: «Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все прости, только о моем счастье и думаешь»), что в ней снова всколыхнулись жалость и нежность к Достоевскому, сострадание к его преданной любви. «Она *вспомнила прошлое*, и ее сердце опять обратилось ко мне,— писал Федор Михайлович Врангелю об этом психологическом повороте Марии Дмитриевны.— ...Она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не все еще решено: ты и я, и более никто!» Это слова ее положительно. Я провел не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимое! К концу второго дня я уехал с [полной] надеждой...»

Но не успел Достоевский возвратиться в Семипалатинск, как Мария Дмитриевна написала ему, что «тоскует, плачет» и любит Вергунова больше, чем его. Достоевский снова «как помешанный в полном смысле слова», но это не мешает ему жертвовать собой ради счастья любимой женщины, победив ревность и горечь: он хлопочет о пособии Марии Дмитриевне за службу мужа, ходатайствует об определении ее сына в кадетский корпус, беспокоится об устройстве Вергунова на лучшее место.

В это трагическое время, когда Достоевский уже считал Марию Дмитриевну потерянной для себя навсегда, в нем снова загорелась надежда. 1 октября 1856 года он был произведен в офицеры, теперь уже он реально стал надеяться на возвращение в Петербург, на возможность снова печататься и заниматься любимым делом — литературным трудом. (Еще создавая свое первое произведение «Бедные люди», он понял, что без творчества больше не мыслит своего существования, что отныне литература станет его жизненным делом и трагической судьбой.)

Трудно сказать с уверенностью, под влиянием ли этих новых обстоятельств или по изменчивости своего характера, а скорее всего просто по той причине, что она в глубине души все-таки не переставала по-своему любить Достоевского, хотя эта любовь никогда не была такой страстной и иступленной, как с его стороны, но Мария Дмитриевна заметно охладела к Вергунову, и вопрос о браке с ним как-то вдруг отпал сам по себе.

И снова меняется тон и стиль ее писем к Достоевскому: это уже нежные письма любимой женщины к своему единст-



венному и верному избраннику. А Достоевский опять воспрянул духом и снова поставил вопрос ребром о своем браке с Марией Дмитриевной. Он чувствует, что дальше такая неопределенность продолжаться не может. «Она по-прежнему *все* в моей жизни... Люблю ее до безумия,— пишет Достоевский Врангелю в ноябре 1856 года.—...Разлука с ней свела бы меня в гроб или буквально довела бы меня до самоубийства... Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь».

В ноябре 1856 года Достоевский снова едет в Кузнецк, получает согласие Марии Дмитриевны выйти за него замуж и 6 февраля 1857 года ведет ее под венец. Достоевский безумно счастлив, не подозревая, конечно, какой тяжелый удар ждет его впереди. На обратном пути, когда молодожены остановились в Барнауле, у Достоевского от всех волнений и всего пережитого случился страшный эпилептический припадок. Потрясенная Мария Дмитриевна увидела, как ее муж вдруг с диким воем и помертвевшим лицом грохнулся на пол, стал биться в ужасных судорогах и потерял сознание.

Это произвело на Марию Дмитриевну гнетущее впечатление, которое еще более усилилось, когда она узнала от докторов, что это эпилепсия и любой припадок может быть смертельным. Она зарыдала и начала упрекать мужа за то, что он скрыл свою болезнь. Но Достоевский ничего не скрывал, он действительно думал, что это просто нервные припадки, а не эпилепсия,— во всяком случае так его раньше уверяли врачи.

Возможно, этот злосчастный эпизод и был той самой первой трещиной в отношениях между супругами, которая, все углубляясь и углубляясь, привела к тому, что семилетний брак Достоевского и Марии Дмитриевны не принес им счастья...

Как на каторге, так и в ссылке Достоевский полон литературных планов, но если на каторге он смог лишь в арестантской палате госпиталя, почти тайком, вести Сибирскую тетрадь (позже он назовет тексты этой тетради: «выражения», «записанные мною *на месте*»), то в ссылке все первые годы его целиком поглотила любовь к М. Д. Исаевой. За десять дней до свадьбы Достоевский отвечает Врангелю: «Вы пишете, что я ленюсь писать; нет, друг мой, но отношения с Марией Дмитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере, *жил*, хоть страдал, да *жил!*»

Но Достоевский не может жить без творчества, без литературы, не может не писать, и после каторги он не слом-

лен как художник, а, наоборот, еще больше верит в свое высокое писательское предназначение. «Более чем когда-нибудь знаю,— пишет Достоевский брату Михаилу 13 января 1856 года,— что я не даром вышел на эту дорогу и что не даром буду бременить собою землю. Я убежден, что у меня есть талант и что я могу написать что-нибудь хорошее».

Но как начать печататься бывшему государственному преступнику? (Секретный полицейский надзор над Достоевским был снят только в 1875 году, хотя он уже пятнадцать лет был на свободе.) И Достоевский решил начать снова литературную деятельность с двух комических, внешне довольно безобидных, произведений — «Дядюшкин сон» (1859) и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859).

В 1873 году в письме к М. П. Федорову, желавшему переделать для сцены повесть «Дядюшкин сон», Достоевский довольно сурово отозвался о своем произведении: «Пятнадцать лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохой. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиноного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии — мало содержания, даже в фигуре князя — единственной серьезной фигуре во всей повести».

Достоевский не случайно отмечает «фигуру князя — единственную серьезную фигуру во всей повести». От него ведет свое начало другой «русский европеец» — Степан Трофимович Верховенский в романе «Бесы», тоже учившийся в Германии, следящий «за европейским просвещением» и презирующий Россию. Есть в «Дядюшкином сне» и формальные сюжетные линии, сходные с «Бесами» (например, идея «первой дамы в городе» Москалевой женить старика на своей дочери Зине напоминает решение Варвары Петровны Ставрогиной выдать свою воспитанницу Дашу за Степана Трофимовича, причем Зина и Даша любят друг друга, но не противятся желанию своих благодетельниц).

И все же значение «Дядюшкина сна» в духовной биографии писателя заключается не в «фигуре князя», а в образе Васи — жалкого романтика, уездного учителя, «дурного и пустого человека». Последнее произведение Достоевского перед каторгой — «Маленький герой» — прощание с романтизмом молодости. Прошло девять лет. После ужасов каторги, когда писатель столкнулся со страшными преступниками, для которых не существовало такое понятие, как со-

весть, утверждение утопистов и романтиков-мечтателей о том, что человек добр по своей природе, показалось Достоевскому смехотворно-наивным, а сам поэт Вася — оторванный от жизни мечтатель — просто «дрянь-человек». За перерождением убеждений неизбежно пришла смена литературных кумиров. Каторга на всю жизнь «протрезвила» утописта-мечтателя, и на смену «шиллеровщине», Жорж Санд, Гюго, Гофману пришел беспощадный реализм, пришла жестокая русская действительность.

Это заметно и на резкой смене в ссылке читательских интересов Достоевского. Вместо художественной литературы он просит брата присылать ему прежде всего и главным образом книги по истории, философии и религии, особенно отцов церкви. Писатель хочет подвести под свое новое религиозное мировоззрение научный фундамент, доказать, что Христос всегда с истиной.

Смена литературных кумиров и новое мирозерцание особенно заметны во втором произведении ссыльного Достоевского — «Село Степанчиково и его обитатели», где он подводит итоги своей докаторжной писательской деятельности, прошедшей под влиянием Гоголя, и в образе Фомы Фомича Опискина пародирует «властителя дум» своей молодости. Возможно, Достоевский, спародировав в образе Фомы Опискина Гоголя как автора «Переписки с друзьями», никак не мог забыть, что именно за чтение этого произведения среди петрашевцев он больше всего и пострадал, а после ужасов каторги желание Гоголя своей проповедью спасти Россию, его мечты об аскетическом подвиге, о монашеской келье показались Достоевскому нелепыми...

Писатель продолжает упорную, титаническую борьбу за свое освобождение, за возвращение в Петербург, за полную амнистию: ведь полная свобода — это возвращение в литературу, а он чувствует в себе такой гигантский нереализованный творческий потенциал, что даже сам поражается. Чтобы хоть как-то продвинуться по служебной лестнице и вырваться из ссылки, нужно доказать свои верноподданнические чувства. И Достоевский решил попробовать себя совсем в несвойственном ему жанре — он сочиняет три патристические стихотворения: «На европейские события в 1854 году» (о конфликте между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, после того как Англия и Франция объявили России войну), «На первое июля 1855 года» (день рождения императрицы Александры Федоровны — вдовы Николая I, который умер 18 февраля 1855 года) и [«На коронацию и заключение мира»] (коронация нового императора Александра II).

Поэтом Достоевский оказался совершенно бездарным, и эти стихотворения производят довольно тяжелое впечатление: ясно, что это отчаянные попытки писателя вернуться в литературу, добиться полной свободы. Но все дело в том, что все эти три стихотворения абсолютно искренни. Достоевский, действительно, считал теперь преступным заблуждением свое участие в «дуровском» кружке, он осудил свой «бунт» и раскаялся в нем.

Достоевский добился своего. Правда, первое стихотворение, дошедшее в конце концов до начальника III Отделения Л. В. Дубельта, не возымело никаких действий, зато второе стихотворение, которое переслал военному министру командир Отдельного Сибирского корпуса генерал Г. Х. Гасфорт, имело самые благоприятные последствия. В апреле 1857 года ему было возвращено дворянство — «полное прощение вины моей», как он считал. (Разумеется, во всем этом, как и в дальнейших благоприятных поворотах судьбы писателя, «повинны» не только его благонамеренные стихотворения — это была общая политика амнистии нового императора Александра II по отношению к политическим заключенным и ссыльным прежнего царствования.)

Но Достоевский хочет уйти в отставку: совмещать военную службу и литературу невозможно, а литература — его судьба, его жизнь. Отставка дает ему надежду скорее вернуться в Петербург. Благодаря хлопотам А. Е. Врангеля, который в феврале 1856 года вернулся в Петербург после службы в Семипалатинске, прошение Достоевского о возвращении из ссылки и разрешении печататься под своим именем передал царю герой Крымской войны Э. И. Тотлебен, старший брат товарища Достоевского по Инженерному училищу.

В марте 1859 года Достоевскому было разрешено оставить военную службу по болезни с «награждением следующим чином» подпоручика, с правом жить в Твери и «воспрещением въезда в Петербургскую и Московскую губернии». Тогда же он получил разрешение печататься на общих основаниях. «Благодарю Вас еще 100 раз за все Ваши старания обо мне, — писал Достоевский Врангелю. — Поблагодарите обоих Тотлебенов. Вы не можете представить себе, с каким восторгом я гляжу на поведение таких душ, как Вы и они оба, относительно меня! Что я Вам сделал, что Вы меня так любите? Что я им сделал, благородным душам?»

2 июля 1859 года Достоевский и М. Д. Исаева выехали из Семипалатинска в Тверь. В письме к своему ротному

командиру А. Гейбовичу Достоевский описывал свое путешествие после того, как они взяли в Омске из корпуса Пашу Исаева: «В дороге со мною было два припадка... Погода стояла преблагодатная, почти все время путешествия тарантас не ломался (ни разу!), в лошадях задержки не было... Великолепные леса пермские, а потом вятские — совершенство... В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрали, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями и при нем в избе инвалид. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел, наконец, господь увидеть «обетованную землю».

В Казани задержались на десять дней — Достоевский ждал денег от брата; в Нижнем побывали на ярмарке; во Владимире — встреча с бригадным генералом М. М. Хоментовским; затем Достоевский заезжает в Сергиев монастырь, чтобы возобновить свои детские и юношеские впечатления: «23 года я в нем не был. Что за архитектура, какие памятники, византийские залы, церкви! Ризница привела нас в изумление».

В августе (около 19-го) 1859 года Достоевский, М. Д. Исаева и Паша Исаев приехали в Тверь. Наконец-то он увидит брата. Михаил Михайлович Достоевский приехал 28 августа: «То-то была радость... Много переговорили. Да что! не расскажешь таких минут. Прожил он у меня дней пять».

Но писатель страстно рвется в Петербург — может быть, именно поэтому он пишет брату, что «Тверь — самый ненавистнейший город на свете». И, может быть, поэтому губернский город, где происходит действие романа «Бесы», так напоминает Тверь, но здесь были и пушкинские ассоциации. Один из эпитафов к роману «Бесы» — пушкинские стихи «В поле бес нас водит, видно...» могли Достоевскому живо напомнить Тверь: ведь он поселился в этом городе в том же доме — гостинице Гальяни, где жил и Пушкин, обессмертив этот дом в стихах:

У Гальяни иль Кольони  
Закажи себе в Твери  
С пармазоном макарони  
Да яичницу свари...

Эти стихи впервые увидели свет в 1857 году в «Современнике», и Достоевский их, конечно, знал, как и знал, что здесь жил Пушкин. Об этом вспоминал врач С. Д. Яновский, навестивший в Твери Достоевского.

Истосковавшись по настоящей творческой работе, Дос-

товский начинает писать новый роман с «идеей» («Записки из Мертвого дома»), делает наброски к роману «со страстным элементом» («Униженные и оскорбленные»), хочет переделать раннюю повесть «Двойник», подготавливает к выпуску двухтомное собрание своих сочинений, брату советует издавать журнал. И вообще он полон самых разнообразных литературных проектов, начинаний, идей, но самое сокровенное его желание — вернуться как можно скорее в Петербург.

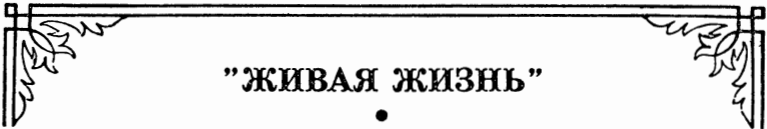
Неожиданно пришла помощь от местного губернатора П. Т. Баранова и особенно от его жены графини Анны Васильевны (урожденной Васильчиковой), с которой Достоевский познакомился еще в молодости у ее двоюродного брата В. А. Соллогуба. «Графиня прекрасная женщина, — писал Достоевский 4 октября 1859 года Врангелю. — ...Она мне и тогда очень понравилась».

Пользуясь большими связями при царском дворе, П. Т. Баранов пересылает прошение писателя на высочайшее имя своему родственнику графу В. Ф. Адлербергу для личной передачи Александру II. Одновременно Достоевский пишет письма Врангелю, Э. И. Тотлебену, шефу жандармов князю В. А. Долгорукому.

Наконец разрешение жить в столице было получено, и в декабре (после 16-го) 1859 года, ровно через десять лет, Достоевский вернулся в город, с которым у него было связано два самых важных события в жизни: «самая восхитительная минута», когда он стал писателем и Белинский благословил его в литературу, и минута смерти — эшафот

Но после принудительной каторги и солдатчины неизбежно должна была начаться «живая жизнь».

## Глава шестая



### „ЖИВАЯ ЖИЗНЬ“

•

Бывший каторжник и петрашевец пользуется большим успехом на публичных чтениях и студенческих вечерах. Чтение Достоевским «Записок из Мертвого дома» еще больше укрепляет его ореол мученика — жертвы царизма в глазах радикально настроенной молодежи 60-х годов.

21 ноября 1860 года в Петербурге, в зале Пассажа, состоялся вечер Литературного фонда (общественной органи-

зации, призванной помогать нуждающимся писателям) в пользу воскресных школ. Объявление о нем «Санкт-Петербургские ведомости» поместили 9 ноября, назвав всех участников предстоящих чтений — В. Бенедиктова, Я. Полонского, А. Майкова, А. Писемского, Ф. Достоевского и Т. Шевченко. Этот литературный вечер — единственное документальное свидетельство того факта, что встретились Ф. Достоевский и украинский поэт. Но для публики, собравшейся тогда в зале Пассажа, имена и судьбы художников имели если не одинаковый, то очень близкий нравственный смысл и звучание.

Первые выступления писателей на вечерах Литературного фонда были большим культурным событием, одним из проявлений всеобщего пробуждения после безмолвия николаевского царствования. Поэтому они привлекли такое внимание современников и оставили значительный след в мемуарной литературе.

Авторы многочисленных воспоминаний единодушно подчеркивают тот восторженный прием, который оказала публика, собравшаяся в Пассаже, Тарасу Шевченко, чем беспредельно растрогала поэта. Достоевскому, вспоминает Л. Ф. Пантелеев, «тоже была сделана самая трогательная овация». И добавляет: «Литературная слава его была еще в зародыше, но в нем чтили недавнего страдальца»<sup>57</sup>. О той же общественной подоплеке шумного успеха Достоевского на вечере писал и П. Д. Боборыкин: «Тогда публика, особенно молодежь, еще смотрела на него только как на бывшего каторжанина, на экс-политического преступника... Тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером»<sup>58</sup>.

С этого времени начинаются блистательные выступления Достоевского на литературных вечерах, к концу его жизни превратившиеся в события огромной культурной и общественной значимости.

Новые творческие и личные знакомства завязываются благодаря изданию братьями Достоевскими журнала «Время». Идея издания ежемесячного периодического органа возникла у Михаила Михайловича Достоевского еще в 1858 году, возвращение в Петербург Федора Михайловича ускорило реализацию этой идеи. Весь 1860 год был посвящен подготовке «Времени». Однако при всей своей журнальной суете писатель находил время для работы над «Записками из Мертвого дома» и «Униженными и оскорбленными».

К этому же году относится недолгое увлечение Достоевского умной и красивой актрисой Александрой Ивановной

Шуберт. Друг молодости писателя, страстный почитатель его таланта Степан Дмитриевич Яновский женился на А. И. Шуберт, однако их семейное счастье было недолговечным, и актриса уезжает от мужа в Москву. Достоевский выступает в роли друга-утешителя, пытаясь примирить враждующие стороны. «Я так уверен в себе, что не влюблен в вас», — писал он актрисе, и, действительно, их дружба носила романтический и эмоциональный характер, а свою привычную роль утешителя, как и в случае с Марией Дмитриевной и Вергуновым, Достоевский передал Ивану Петровичу в «Униженных и оскорбленных», утешающему Наташу и Алешу.

В сентябре 1860 года писатель составил и разослал объявление о выходе нового журнала «Время». Эта краткая программа вошла в его большую статью, представляющую собой манифест «почвенничества», как назвал писатель основное направление журнала «Время». «Реформа Петра Великого нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом, — писал Достоевский в своей декларации. — После реформы был между ними и нами, сословием образованным, один только случай соединения — *двенадцатый год*, и мы видели, как народ заявил себя... Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал».

Манифест кончается вдохновенным пророчеством: «Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий; что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое применение и дальнейшее развитие в русской народности».

Достоевский хочет создать своим журналом «Время» новое общественное течение — «почвенничество», занимающее среднее место между западничеством и славянофильством. Своему пониманию русской идеи как примирению всех европейских идей, а русского идеала как общечеловеческого идеала Достоевский остался верен до конца жизни. Революции писатель противопоставляет мирное объединение с «почвой», то есть с народом. С точки зрения Достоевского, народ, благодаря сохранившемуся в нем христианскому идеалу «всепримиримости» и «всечеловечности»,



способен усваивать результаты европейской цивилизации, избегая вражды сословий, свойственной Западу. Хотя консерватизм и утопизм такого плана устранения социальных противоречий были очевидны, Достоевский страстно и искренне считал историческим предназначением русского народа всеобщую реализацию этого идеала.

Но журнал «Время» привлекал читателей прежде всего своим литературным содержанием. Официальным редактором состоял Михаил Михайлович Достоевский, сам же писатель заведовал художественным и критическим отделом. В первой же книжке «Времени» печатался роман «Униженные и оскорбленные», затем последовали «Записки из Мертвого дома», произведения Островского, Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Достоевскому удалось привлечь к сотрудничеству двух талантливых молодых критиков Аполлона Григорьева и Николая Страхова, которые и образовали группу «почвенников» в журнале.

Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях нарисовал портрет Достоевского эпохи «Времени»: «Он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, т. е. простонародные черты лица»<sup>59</sup>. Педагог Н. Ф. Бунаков, ставший сотрудником «Времени» в 1861 году, оставил описание атмосферы самого журнала: «Очень приветливо и сердечно принял меня Достоевские, Михаил Михайлович, издатель и редактор журнала «Время», в котором был напечатан мой рассказ «Село на юру» и для которого я привез с собой новую большую повесть «Город и деревня» (напечатано в том же 1861 году), и брат его Федор Михайлович, только что возвратившийся из ссылки... Федор Михайлович Достоевский пригласил меня на вечер, где я познакомился со всем кружком журнала... Кусков горячился. Грузный Разин возражал отрывочно и с менторской важностью. Благодушный Н. Н. Страхов держался неопределенной середины. Нервный Федор Михайлович Достоевский, бегая по комнате мелкими шажками, некоторое время не вмешивался в разговор, потом вдруг заговорил, пришептывая,— и все приомкли; это, очевидно, был пророк кружка, перед которым все преклонялись»<sup>60</sup>.

Сотрудничество радикальных кругов в журнале «Время» оказалось недолгим. Достоевский сначала умерял полемический пыл Н. Н. Страхова и других сотрудников «Времени» против «Современника» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, но скоро и сам включился в ожесточенную и многолетнюю журнальную и идейную полемику с «нигилистами». Надежды Достоевского на трогательное

примирение в «почвенничестве» интеллигенции с народом окончательно рухнули во время студенческих волнений 1861 года, когда был закрыт университет, а студентов сажали в Петропавловскую крепость, причем уличные толпы устраивали им овации.

В последних числах мая или в самом начале июня 1862 года, как пишет Н. Г. Чернышевский в мемуарной заметке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» (1888), «через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок» (то есть после 28—30 мая), к нему пришел Достоевский с просьбой осудить организаторов грандиозных петербургских пожаров, которых Чернышевский якобы «близко знал».

Обстановка в Петербурге была в то время весьма тревожной. Опустошительные пожары, начавшиеся 16 мая 1862 года и продолжавшиеся две недели, совпали с появлением (18 мая) прокламации «Молодая Россия», призывавшей к беспощадному, решительному, до основания, разрушению социального и политического строя России, истреблению господствующего класса («императорской партии») и царской фамилии. Реакционная печать распространяла провокационные слухи о причастности к поджогам революционной студенческой молодежи, названные А. И. Герценом «натравливанием обманутого народа на студентов».

Все эти события, вероятно, и были предметом беседы Достоевского и Чернышевского, как о том свидетельствуют их воспоминания, хотя они и расходятся относительно повода посещения: Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, в главе «Нечто личное», называет таким поводом появление прокламации «Молодая Россия», а Н. Г. Чернышевский в более поздних воспоминаниях — петербургские пожары.

Но и в тех и в других мемуарах современников предстает удивительно непосредственный, искренний и несколько наивный образ Достоевского, страстно беспокоящегося за судьбу России.

Полемика с «Современником» была прервана на время арестом Н. Г. Чернышевского. Но Достоевский продолжал ее в своих художественных произведениях, и прежде всего и главным образом в «Записках из подполья». Напряженная журнальная работа и все расширяющийся круг знакомых (среди них, кроме непосредственных сотрудников «Времени», были композиторы А. Н. Серов, молодой П. И. Чайковский, П. П. Соколовский, профессор-философ М. И. Владиславлев, профессор-богослов А. Л. Катанский, писатель Г. П. Данилевский и многие другие, стремившиеся познако-

миться с бывшим каторжником) не заслонили для Достоевского самого главного в его жизни — творческой работы. «Нахожусь вполне в лихорадочном положении, — сообщает он А. Шуберт в 1860 году о работе над «Униженными и оскорбленными». — Всему причиной мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера». Роман печатался в первой половине 1861 года в журнале «Время» и в том же году вышел отдельным изданием.

«Униженные и оскорбленные» — мелодраматический авантюрный роман, в который Достоевский вложил новое психологическое и идейное содержание. Начинаящий писатель Иван Петрович — сам Достоевский эпохи 40-х годов. Рассказ об Иване Петровиче, о том, как он написал повесть о бедном чиновнике, имевшую большой успех, — это личная исповедь писателя, его воспоминания о начале собственного литературного пути. Даже отношения между Наташей, Алексеем и Иваном Петровичем, напоминающие отношения между Варенькой, Деушкиным и студентом Покровским в «Бедных людях», между Настенькой, Мечтателем и Молодым человеком в «Белых ночах», навеяны кузнецким треугольником: Достоевский, Мария Дмитриевна, Вергунов.

Однако настоящий герой «Униженных и оскорбленных» не Иван Петрович, а князь Валковский: его злая воля определяет судьбу остальных героев романа. Духовный опыт каторги не прошел для Достоевского бесследно: впервые в его произведениях появляется «сильный» человек, стоящий по ту сторону добра и зла, вне морального закона. Мечтательному, отвлеченному, идиллическому гуманизму 40-х годов, проповедовавшему естественную безгрешность человека, Достоевский отныне и до конца своих дней противопоставляет религиозную истину о первородном грехе, о греховной природе человека, о добре и зле в душе каждого человека.

От Валковского идут прямые нити к Свидригайлову и Раскольникову в «Преступлении и наказании», к Кириллову и Ставрогину в «Бесах», к Федору Павловичу Карамазову и Ивану Карамазову в «Братьях Карамазовых».

В 1861—1862 годах в журнале «Время» были напечатаны «Записки из Мертвого дома» Достоевского — единственное, пожалуй, в мировой литературе художественное произведение, в котором писатель сумел полностью отразить свою биографию. А. Милюков пишет: «Хотя новость книги, посвященной исключительно быту каторжных, мрачная канва этих рассказов о страшных злодеях и, наконец, то,

что сам автор был только что возвращенный политический преступник, смущало несколько цензуру, но это, однако же, не заставило Достоевского уклониться в чем-нибудь от правды, и «Записки из Мертвого дома» производили потрясающее впечатление; в авторе видели как бы нового Данте, который спускался в ад, тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности»<sup>61</sup>.

Рассказ бывшего каторжника о том неведомом и страшном мире, из которого он только что возвратился, приобретал в глазах читателей историческую достоверность. За рассказчиком-каторжником Александром Петровичем Горянчиковым слышится голос самого писателя, очевидца событий. На основе своих личных впечатлений, чувств и оценок Достоевский с огромным мастерством воспроизводит острожный быт, этот особый мир.

Но великий художник не ограничивается лишь описанием каторжного быта, он стремится понять законы этого мира, проникнуть в его тайну. Достоевский понял, что весь смысл слова «арестант» означает «человек без воли» и что все особенности его объясняются одним понятием — «лишение свободы».

Идея свободы проходит через весь роман «Записки из Мертвого дома», определяет все его построение. В конце «Записок из Мертвого дома» рассказывается о раненом орле, который жил на тюремном дворе. Арестанты отпускают его на волю и долго смотрят ему вслед. «Вишь его!» — задумчиво проговорил один. «И не оглянется! — прибавил другой. — Ни разу-то, братцы, не оглянулся; бежит себе!» — «А ты думал, благодарить воротится», — заметил третий. — «Знамо дело — воля. Волю почуял!» — «Слобода, значит». — «И не видать уж, братцы». — «Чего стоять-то? Марш!» — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу...»

Главная идея произведения — свобода, воплощенная в символе-образе орла. Недаром же со слова «свобода» начинается самая последняя строчка романа, когда с Александра Петровича Горянчикова сняли кандалы и он готовится покинуть острог: «Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых... Экая славная минута!»

После «Записок из Мертвого дома» неизбежно должна была последовать повесть Достоевского «Записки из подполья», после ужаса принудительного общения на каторге писатель создает гимн свободе человека, после принудительного коллективизма Достоевский воспекает индивидуальное достоинство и свободу каждого человека.



М. А. Достоевский, отец писателя.

М. Ф. Достоевская, мать писателя.



Флигель Маринской больницы, в котором родился Ф. М. Достоевский



Ф. М. Достоевский.  
Художник  
К. А. Трутовский. 1847.



М. М. Достоевский,  
брат писателя.  
Фотография. Середина  
1850-х гг.



Ф. М. Достоевский и Ч. Валиханов.  
Фотография. 1858.  
Семипалатинск.



М. Д. Достоевская,  
первая жена писателя.  
Фотография.  
Конец 1850-х — начало 1860-х гг.



Ф. М. Достоевский.  
Фотография. 1861.



Но «Записки из подполья» давались писателю нелегко. Умирает Мария Дмитриевна, а брат Михаил, чувствуя, что дела их журнала «Эпоха» (он выходил после «Времени») идут неважно, торопит Достоевского, считая, что его новое произведение сможет придать вес «Эпохе» и укрепить пошатнувшееся положение издания. Писатель работает над повестью с мукой и отчаянием.

Первая часть «Записок из подполья» увидела свет в первом номере «Эпохи» за 1864 год. Вторая часть повести создавалась еще труднее. «Мучения мои всяческие теперь так тяжелы;— жалуется Достоевский брату,— что я и упоминать не хочу о них. Жена умирает, буквально. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне... Писать же работа не механическая, и, однако ж, я пишу и пишу... Иногда мечтается мне, что будет дрянь, но, однако ж, я пишу с жаром; не знаю, что выйдет... Вот что еще: боюсь, что смерть жены будет скоро, а тут необходимо будет перерыв в работе. Если б не было этого перерыва, то, конечно, кончил бы».

Так в тревоге и отчаянии создавалось одно из самых загадочных и гениальных творений Достоевского «Записки из подполья». На первый взгляд это довольно странное произведение, во всяком случае такого не было в мировой литературе, причем в нем поражают не столько парадоксальные идеи, сколько само построение, стиль, сюжет.

Но смысл «Записок из подполья» приоткрывается только в полемике с революционными демократами, и прежде всего с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?», с рассуждениями его героя Лопухова о выгоде как единственной причине человеческих поступков.

Подпольный человек считает, что главное для человека не выгода, а его свободная воля, вольное и свободное хотение. Человек может захотеть, казалось бы, и самого неразумного для себя, чтоб только иметь право захотеть: это и есть самое выгодное, так как «сохраняет нам самое главное и самое дорогое, т. е. нашу личность и нашу индивидуальность».

Мало того. В своей страстной защите каждой отдельной личности герой «Записок из подполья» доходит до парадоксального утверждения: «Свое собственное вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда, хотя бы даже до сумасшествия,— вот это все и есть самая выгодная выгода».

И последний необычайно смелый вывод: «Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта само-

стоятельность ни стоила и к чему бы ни привела». Свободный акт человека коренится не в разуме, а в его воле, которая по своей природе иррациональна, в «живой жизни».

Главное для человека — «живая жизнь». Достоевский вспоминает это выражение из трагедии Ф. Шиллера «Мессинская невеста» (1803), которого в 40-е годы так блистательно переводил его брат Михаил Михайлович Достоевский.

Отныне это выражение «живая жизнь», ставшее для Достоевского символом свободной человеческой воли и достоинства человека как свободного в своем волеизъявлении существа, пройдет через все последующее творчество писателя. Но живой жизнью была и сама биография писателя в это время.

За два года работы в журнале «Время» Достоевский, по собственному признанию, написал до ста печатных листов. Записная книжка 1862—1863 годов наглядно свидетельствует, какой неимоверной ценой давалось это огромное напряжение: «Припадки падучей: 1 апреля — сильный; 1 августа — слабый; 7 ноября — средний; 7 января — сильный; 2 марта — средний».

Но не меньшего напряжения требовала и личная жизнь писателя. Мария Дмитриевна не выдержала холодного и гнилого климата столицы и вынуждена была вернуться в Тверь. С этого момента их совместная жизнь нарушилась, они лишь изредка имеют подобие общего дома, а чаще всего проживают на разных квартирах, в разных городах. 7 июня 1862 года, когда Достоевский впервые уезжает за границу, он едет один. Мария Дмитриевна находит предлог, чтобы остаться в Петербурге: нужно помочь сыну в подготовке к гимназическому экзамену (Паша Исаев оказался неуспевающим учеником). Но это был только предлог, возможно, для соблюдения приличий. У Достоевского была его собственная жизнь, к которой Мария Дмитриевна не имела никакого отношения. Она чахла и умирала. Он встречался с людьми, издавал и редактировал журналы «Время» и «Эпоха», а главное, писал и писал.

За границу летом 1862 года Достоевский ехал с явным чувством радости и свободы. Впервые за долгое время веселые, даже шуточные ноты звучат в его письмах к близким людям. «Ах, кабы нам вместе, — пишет он Страхову. — Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (А? Николай Николаевич?). Но... ничего, ничего, молчание, как говорит в этом же самом случае Поприщин».

Достоевский побывал в Берлине, Лондоне, где не по-

боялся встретиться с А. И. Герценом, который писал Н. П. Огареву 17 (5) июля 1862 года: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ»<sup>62</sup>. Был в Париже — он ему совсем не понравился, проехал по Рейну и Швейцарии, прожил несколько недель во Флоренции и объездил почти всю Италию. Однако в Европе Достоевского ждало полное разочарование — «страна святых чудес», о которой он грезил с молодости, оказалась кладбищем. Вся великая христианская культура была в прошлом — наступила эпоха буржуазно-мещанского капиталистического «рая», «благополучия», самодовольства. Одно стремление поражает писателя — это стремление «поклониться Ваалу», «миллиону», расчету: «Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в *едино стадо*». Страстный протест против наступления капитализма, калечащего души людей, — вот основной пафос «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского, посвященных его заграничному путешествию. Именно в эту поездку он начал играть в рулетку, и эта новая страсть поглотила его целиком. Никто не мог понять эту страсть писателя, и только вторая жена, Анна Григорьевна, через пять лет разгадала ее.

После возвращения, в сентябре 1862 года, Достоевский нашел Марию Дмитриевну в очень плохом состоянии. С этого момента он трогательно заботится о ней, стараясь всячески облегчить ее страдания. Зимой она почти не выходила из своей комнаты и лежала по целым месяцам. Весной 1863 года ей стало так плохо, что врачи опасались за ее жизнь, и ей только чудом удалось выжить. При первой же возможности Достоевский отвез ее во Владимир, где климат был гораздо мягче. В одном из писем он так описывал невзгоды свои в это время: «Болезнь жены (чахотка), расставание мое с нею (потому), что она, пережив весну, т. е. не умерев в Петербурге, оставила Петербург на лето, а может быть, и долее, причем я сам ее сопровождал из Петербурга, в котором она не могла более переносить климата».

Марию Дмитриевну Достоевский увидел только в октябре — и тут же принял решение везти ее в Москву: поселиться с ней в Петербурге было невозможно, а оставлять во Владимире тоже, по-видимому, было нельзя. Мария Дмитриевна была настолько измучена своей болезнью и вообще находилась в таком плохом состоянии, что даже переезд в близкую Москву представлялся затруднительным, почти опасным. «Однако, — пишет Достоевский брату, — по неко-

торым крайним обстоятельствам другие причины так настоятельны, что оставаться во Владимире никак нельзя».

Достоевский считал своим долгом облегчить жене последние месяцы ее жизни, а сделать это было, конечно, гораздо легче в Москве, чем в незнакомом провинциальном городе.

В начале ноября 1863 года супруги обосновались в Москве. Достоевский почти все дни и ночи проводил за письменным столом: он думал над «Игроком» и писал статьи для журнала «Эпоха». Но работалось тяжело. Умиравшая Мария Дмитриевна, становясь все более раздражительной, требовала неотступного внимания. Она не могла выносить никого, даже сына, приехавшего из Петербурга навестить ее. Достоевский ясно сознавал, что конец близок. «Жаль мне ее ужасно,— пишет он брату в январе 1864 года,— у Марии Дмитриевны поминутно смерть на уме, грустит и приходит в отчаяние. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы ее раздражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она, как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть!»

Мария Дмитриевна умирала мучительно и трудно: ее страдания и настроения, вероятно, припомнились Достоевскому, когда он описывал умирающую от чахотки супругу Мармеладова в «Преступлении и наказании» или агонию Ипполита в «Идиоте».

14 апреля 1864 года с Марией Дмитриевной сделался припадок, кровь хлынула горлом и начала заливать грудь. На другой день к вечеру она умерла — умерла тихо, при полной памяти, и всех благословила. «Она столько выстрадала, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней». Эти слова из письма Достоевского были обращены к брату Михаилу, которого Мария Дмитриевна всегда считала ее «тайным врагом», а он, в свою очередь, тоже не любил ее и был уверен, что она загубила жизнь его гениального брата.

Образ Марии Дмитриевны можно найти во многих произведениях Достоевского: Наташа в «Униженных и оскорбленных», супруга Мармеладова в «Преступлении и наказании», в какой-то мере Настасья Филипповна в «Идиоте» и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Все эти лихорадочные, бледные и порывистые женщины навеяны первой большой любовью писателя — Марией Дмитриевной Исаевой.

Через год после смерти жены Достоевский писал семипалатинскому другу А. Е. Врангелю — единственному свидетелю их любви: «О, друг мой, она любила меня беспре-

дельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру), — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу».

Почему Достоевский и Мария Дмитриевна были «положительно несчастны вместе»? Возможно, Мария Дмитриевна быстро поняла, что она обречена, как чахоточная больная, и это сознание накладывало определенный отпечаток на ее отношения с близкими. Во всяком случае, Анна Григорьевна Достоевская, — конечно, со слов самого писателя — свидетельствовала, что «обострившаяся болезнь» Марии Дмитриевны «сообщила особенную мучительность» ее отношениям с Достоевским<sup>63</sup>.

Если же говорить о Достоевском, то можно с уверенностью сказать, что писатель очень переживал, что их брак с Марией Дмитриевной оказался бездетным. Он всегда любил детей, и когда старший брат женился и у него пошли дети, он искренно и по-хорошему завидовал брату. И здесь человеческое совпадало с писательским. Мало кто сумел так близко подойти к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как Достоевский. (Любопытно, что на похоронах Достоевского среди множества венков был венок и от русских детей.) Многие очень любили детей, но писали о них с ласковым юмором взрослого человека и лишь слегка, словно кончиками пальцев, касались их мира. А Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику ему был дан самый ценный человеческий дар — дар страдания во имя любви к людям, к детям, дар сострадания. И самым сильным побуждением к состраданию являются дети.

Может быть, Достоевский все же терзался мыслью, что когда-то в Кузнецке Мария Дмитриевна предпочла ему Вергунова исключительно по любви, не почувствовав страстную веру унтер-офицера Достоевского в свое писательское призвание, а Мария Дмитриевна, в свою очередь, может быть, так и не смогла забыть тот страшный припадок Достоевского всего лишь через несколько дней после венчания.

Однако, делая попытки проникнуть в тайну несчастного брака писателя, надо всегда помнить, что в том же письме от 31 марта 1865 года к Александру Егоровичу Врангелю, который не только знал хорошо Марию Дмитриевну, но и был свидетелем первых лет их любви, Достоевский писал: «Существо, полюбившее меня и которое я любил без меры,

жена моя умерла... Помяните ее хорошим добрым воспоминанием... Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается».

Это признание тем более поразительное, если учесть, что в последние годы жизни Марии Дмитриевны Достоевский любил другую женщину...

После одного из литературных чтений к писателю подошла стройная молодая, очень женственная девушка, с большими серо-голубыми глазами, с красивыми чертами умного, волевого лица, с гордо закинутой головой, обрамленной прекрасными рыжеватыми косами.

Девушку звали Аполлиария Прокофьевна Сулова. Отцом ее был крепостной крестьянин Прокофий Сулов, который еще до отмены крепостного права откупился у своего помещика и поселился в Петербурге, чтобы дать своим двум дочерям высшее образование. Старшая дочь, Аполлиария, слушает в Петербургском университете лекции знаменитых профессоров, а младшая — Надежда — через несколько лет прославит свое имя как замечательный медик.

К моменту знакомства с писателем Аполлиарии Суловой был двадцать один год. Дочь писателя утверждает, что она написала осенью 1861 года Достоевскому «объяснение в любви»<sup>64</sup>. И хотя такое письмо не сохранилось, можно предположить, что Достоевский, действительно, его получил. Такое признание было в духе эпохи, а сделать самой первый шаг — это как раз в духе Аполлиарии Суловой. Во всяком случае Достоевский пошел навстречу этому горячему молодому чувству, ответил ей, и они встретились. Писатель страстно влюбился в свою молодую сотрудницу — в сентябре 1861 года в журнале братьев Достоевских «Время» появился первый рассказ Аполлиарии Суловой «Покуда». Он был слабоват в художественном отношении, но привлек внимание редактора Федора Достоевского своей чистотой и даже по-детски наивной верой в возрождение освобожденной от «духовного крепостничества» женщины. (Через несколько лет аналогичная ситуация повторится с рассказом А. В. Корвин-Круковской «Сон» и знакомством с ней Достоевского на литературной почве).

Аполлиария ответила взаимностью на пылкую любовь писателя. Эмансипация женщины, понимаемая в духе вре-

мени, как раскрепощенность от семейных, моральных, общественных да и вообще от всяких уз, обрела в Аполлинарии активную сторонницу. Такая эмансипация отвечала ее личности, она искренно не хотела считаться с теми нормами и приличиями, которые она считала пережитками и предрассудками. Отсюда ее готовность пойти на любой подвиг, тот самый максимализм, который Достоевский считал исконной чертой русского характера и с которым она подходила ко всем окружающим, и прежде всего к избраннику своего сердца — писателю Достоевскому.

В то же время это пренебрежение всякими условностями и этот максимализм породили в ней чисто женский эгоизм, безмерную гордость и необузданное самолюбие. Вполне возможно, что именно эта безмерная гордость и необузданное самолюбие, доходившее до эгоцентризма, и разрушили в конце концов любовь Аполлинарии к Достоевскому.

Она, вероятно, ждала какой-то романтической любви, а встретила настоящую страсть пожилого мужчины (она не понимала, что для Достоевского всегда любовь и страсть неразрывны), который к тому же подчинил их встречи своим литературным делам, семье и вообще самым разнообразным обстоятельствам своей довольно тяжелой жизни.

Он уверял, что больше не живет с женой, а сам постоянно о ней думал и принимал все меры предосторожности, чтоб не нарушить ее покоя. Она говорила, что всю себя ему отдала, ни о чем не спрашивая и ни на что не рассчитывая, а он клянется, что любит ее, а с женой разойтись не хочет. (Она не понимала, что как бы ни любил ее Достоевский, он бы все равно не бросил тающую на глазах чахоточную Марию Дмитриевну. Характерно, что через двадцать лет на вопрос, почему она в конце концов разошлась с Достоевским, она ответила: «Потому что он не хотел развестись со своей женой, чахоточной, «так как она умирает»<sup>65</sup>.)

Кризис в их отношениях наступил, очевидно, весной 1863 года, когда Аполлинария поехала за границу. Но ее отъезд скорее походил на бегство. Ехать они должны были вместе, но Достоевского задержали дела, связанные с закрытием журнала «Время». И хотя он несколько удивился, увидев, как она с легкостью согласилась ехать одна, все же был спокоен, назначив ей встречу в Париже.

26 августа 1863 года Достоевский приезжает в Париж и полный радости от предстоящей встречи с Аполлинарией идет к ней. Но его ждал тяжелый удар. Аполлинария рассказала, что встретила в Париже с испанским студентом Сальвадором, молодым красавцем с «гордым и самоуверен-

но дерзким лицом». Но он ее скоро бросает, для него это было лишь мимолетное развлечение. Повторяется ситуация первой большой любви Достоевского, когда Мария Дмитриевна в Кузнецке предпочла ему молодого и красивого учителя Вергунова. Снова претворяется в жизнь сюжет «Униженных и оскорбленных», и Достоевский, как и герой этого романа Иван Петрович, утешающий Наташу, уже становится другом и братом Аполлинару и по-братски успокаивает и утешает ее, пытаясь уладить ее сердечные дела.

Из Парижа Достоевский и Аполлинурия уезжают в Баден-Баден, и их заграничное путешествие предваряет драматическую ситуацию «Игрока». Об их новых отношениях, когда Аполлинурия ведет любовную дуэль рассчитанно и коварно и ее любовь постепенно превращается в ненависть, можно судить по ее дневнику<sup>66</sup>.

Но даже если допустить эмоционально преувеличенный характер ее дневниковых записей, мы все равно не можем проникнуть в последнюю тайну этой любви-ненависти Достоевского и Суловой, как не можем проникнуть в тайну несчастного брака Достоевского и Марии Дмитриевны. Мы можем сделать лишь несколько попыток.

Не повторяя уже сказанного, добавим, что их вражда могла питаться и несомненно питалась глубокими идейными расхождениями между верующим монархистом Достоевским, каким он вернулся после каторги и ссылки, и страстной нигилисткой Суловой, неистово отрицавшей весь «старый мир» и даже готовой примкнуть к антиправительственному террору.

Обратим внимание на то, что «антидостоевские» дневниковые записи сделаны Аполлинурией в то время, когда Достоевский продолжал ее страстно любить, о чем она прекрасно знала. Мало того, эти записи сделаны после 15 апреля 1864 года, когда умерла Мария Дмитриевна и Достоевский уже делал Аполлинурии предложение стать его женой: иначе он и не мыслил себе отношения с любимой женщиной. Он простил ей Сальвадора и готов был простить кого угодно, так как любил ее.

Но на неоднократные предложения стать его женой Сулова каждый раз отвечала отказом. Аполлинурии нравилось мучить его, ибо она знала, «какой он великодушный, благородный! какой [у него] ум! какое сердце!», как записала она в том же дневнике о Достоевском<sup>67</sup>.

Думается, в том, что любовь превратилась в ненависть, виновата прежде всего и главным образом Аполлинурия. В натуре ее сидел изначально какой-то бес мучительства, и она это отлично сознавала, когда делала, например, та-



кую запись в дневнике: «Мне кажется, я никого никогда не полюблю»<sup>68</sup>. У нее с самого начала было двойственное отношение к Достоевскому, и искреннее чувство к нему сочеталось в ней всегда с такой же искренней жестокостью и депотизмом.

А может быть, эти дневниковые «антидостоевские» записи Аполлинару в сентябре и декабре 1864 года объясняются тем, что Достоевский, прекрасно видя ее в беспощадном свете правды (это, естественно, не мешало ему страстно любить ее), имел неосторожность выложить ей всю эту беспощадную правду.

Во всяком случае из письма в 1865 году Достоевского к сестре Аполлинару Надежде Прокофьевне Суловой, в котором он очень откровенно исповедуется, видно, что он действительно «осмелился» сказать своей возлюбленной правду о ней: «Аполлинурия — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостойн был любви ее, жалуется и упрекает меня непрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: «Ты немного опоздал приехать», т. е. что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: «ты немножко опоздал приехать»... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви.

Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого *всего*, а сам избавляет [себя] от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья.

Может быть, письмо мое к ней, на которое она жалуется, написано раздражительно. Но оно не грубо. Она в нем считает грубостью то, что я осмелился говорить ей наперекор, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала всегда высоко. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней вовсе нет человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор. Зачем она меня мучает? Не люби, но и не мучай».

Последний раз Аполлинурия и Достоевский виделись весной 1866 года. Любовь их пришла к концу, хотя пе-

реписка еще продолжалась почти год, и каждый раз письма Суслевой приводили Достоевского в волнение. Но писатель оказался пророком: Аполлинария, действительно, «вечно была несчастна» и никогда не нашла себе «друга и счастья».

А. П. Суслева умерла в Севастополе, одинокой, в семидесятивосьмилетнем возрасте в 1918 году, так и не создав семьи и не имея детей. Судьбе было угодно сложиться так, что в том же году и тоже в Крыму скончалась женщина, которой суждено было стать последней любовью Достоевского.

А. П. Суслева оставила значительный след в творчестве Достоевского. От нее берут свое начало «инфернальные» образы женщин у писателя (Настасья Филипповна в «Идиоте», Грушенька в «Братьях Карамазовых» и т. д.), а историю своей «роковой» любви Достоевский рассказал в романе «Игрок».

Исследуя историю второй большой любви писателя, не следует никогда забывать слова самого Достоевского, в передаче Врангеля, сказанные им, скорее всего, о своем несчастном браке с Исаевой (Врангель не знал о любви писателя к Суслевой), но имеющие явно отношение и к Суслевой, тем более что слова эти относятся к 1865 году: «Будем всегда благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина»<sup>69</sup>.

Вторая большая любовь писателя не мешала его напряженной работе в журнале «Врѣмя». В 1863 году вспыхивает польское восстание против самодержавия. В апрельской книге «Времени» Н. Н. Страхов печатает статью «Роковой вопрос», в которой доказывает, что бороться с поляками внешними силами недостаточно: победа над ними должна быть морально оправдана. И хотя статья была вполне патристической и благопристойной, но ее тема оказалась недозвоненной, и журнал «Время» был закрыт.

Наступает трагический для Достоевского 1864 год. С большим опозданием приходит разрешение на издание нового журнала «Эпоха». Однако подписка срывается, так как объявление о новом периодическом органе появляется в петербургской печати только 31 января 1864 года, а сам январский номер выходит только в марте, причем приводит братьев Достоевских в отчаяние своим ужасным внешним видом. Но главное, нет наличных денег — нечем платить типографии, сотрудникам, авторам: приходится все делать в кредит. Напрягая последние силы, в каком-то лихорадочном возбуждении, Федор Михайлович и Михаил Михайлович Достоевские продолжают выпускать «Эпоху».

К смерти жены Достоевский был готов, как и готов был к тому, что ему еще много лет придется поднимать и содержать пасынка Пашу Исаева, который не выражал никакого желания ни учиться, ни трудиться.

Но впереди Достоевского поджидал новый страшный и на этот раз совсем неожиданный удар: 10 июля 1864 года в 7 часов утра, в Павловске под Петербургом, у себя на даче, скоропостижно скончался Михаил Михайлович Достоевский — духовно самый близкий писателю человек из всей большой их семьи, неоднократно помогавший ему материально и морально, единственный среди братьев и сестер Достоевских, безоговорочно обожавший и боготворивший своего гениального брата. (Отныне Павловск, где у Михаила неоднократно бывал Достоевский, будет овеян в его петербургских романах и, главным образом, в «Идиоте» какой-то элегической грустью и тоской.)

После смерти брата остается его большая семья, и Достоевский берет на себя обязательства помогать его вдове и детям до тех пор, пока они не смогут обеспечить себя сами. Достоевский решает продолжать «Эпоху», работая с нечеловеческой энергией. 1 ноября 1864 года критик А. П. Милюков писал Г. П. Данилевскому: «...Много воды утекло с того времени, как мы виделись с вами. Вот и М. М. Достоевский отправился в Елисейския. Это был такой неожиданный удар для его семьи и приятелей. Болезнь его началась разливом желчи и при других обстоятельствах кончилась бы, конечно, благополучно. Но разные беспокойства, особенно со стороны цензуры, которые сильно тревожили его, дурно подействовали на ход болезни — отравленная желчь бросилась на мозг, и он, пролежав три дня в беспомощности, умер. „Эпоха“, как вы знаете, продолжает издаваться его семейством, т. е. собственно Федор Михайлович издает ее под номинальной редакцией Порецкого (это один из их старых знакомых и сотрудник по отделу внутренних известий)... Федор Михайлович был при больном постоянно... Вот какой год выпало на семью: весной умерла жена Федора Михайловича, потом у Михайла Михайловича дочь, а летом и сам он. Вы спрашиваете: кто будет главным двигателем „Эпохи“? Конечно, Федор Михайлович, с прежними сотрудниками...»<sup>70</sup>. Достоевский работает с отчаянной энергией, выпуская по две книжки журнала в месяц. Но вдруг новый удар: умирает ближайший сотрудник и единомышленник писателя, прекрасный русский критик и поэт Аполлон Григорьев. Несмотря на все старания Достоевского, уровень «Эпохи» резко падает, и в июне 1865 года этот журнал прекращает свое существование.

После закрытия выясняется, что у брата накопилась огромная по тем временам сумма долга кредиторам — тридцать три тысячи рублей (за бумагу, типографию, переплет и т. п.). Достоевский берет на себя обязательство рассчитаться с этими долгами. И это поразительно, если учесть, что кроме литературного творчества у него не было никаких других источников дохода: значит, он верил в свои гигантские, еще не реализованные творческие возможности, в свою «живую жизнь». В марте 1865 года Достоевский писал своему старому другу А. Е. Врангелю: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась надвое... О, друг мой, я охотно бы пошел опять на каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро... А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть!»

После смерти жены и брата Достоевский чувствует себя бесконечно одиноким, он ищет любви, делает попытку жениться, мечтает иметь семью, иметь детей, стать отцом. Увлечение в конце 1864 — начале 1865 года близкой подругой сотрудника своих журналов П. Горского Марфой Браун не было продолжительным и не оставило никакого следа в духовной биографии Достоевского.

Гораздо более значительным и плодотворным для творческой жизни писателя было другое увлечение. Летом 1864 года как редактор петербургского журнала «Эпоха» Федор Михайлович Достоевский получил из имения Палибино Витебской губернии от некоей Анны Васильевны Корвин-Круковской рассказ «Сон» с сопроводительным письмом автора. Ее отец, генерал-лейтенант Василий Васильевич Корвин-Круковский (1800—1875), выйдя в отставку, поселился в своем родовом имении Палибино. У него родились две дочери — Анна и Софья, впоследствии выдающийся математик Софья Васильевна Ковалевская (1850—1891).

И хотя генерал-лейтенант Корвин-Круковский был человеком старого закала, но живительный воздух 60-х годов проник и в его имение. Через много лет Софья Ковалевская вспоминала, что «Анюта стала доставать журналы другой пошиба: „Современник“, „Русское слово“, каждая книжка которых считалась событием дня у тогдашней молодежи. Однажды он (знакомый студент.— С. Б.) принес ей даже номер запрещенного „Колокола“ (Герцена)... Она выписывает теперь ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг с такими мудреными названиями: „Физиология жизни“, „История цивилизации“ и т. д.»<sup>71</sup>.

Несколько экзальтированная, мечтательная и романтическая Анна, восторгавшаяся произведениями Достоевского и горько сожалевшая о его трагической судьбе, решила стать писательницей и тайком от всех своих домашних послала свой первый рассказ «Сон» редактору «Эпохи». В этом рассказе речь шла о молодой девушке, которой светские предрассудки помешали полюбить нищего студента. Но вот ей снится вещий сон, и этот сон показывает ей самой ее настоящие чувства. Она прозревает, но поздно: студент уже умер, а вскоре умирает и она сама. Особыми художественными достоинствами рассказ не отличался, а местами был просто слаб, но в нем была такая искренность и непосредственность, а приложенное письмо Анны Васильевны дышало такой чистотой и свежестью, что Достоевский решил напечатать рассказ в «Эпохе» и сразу же ответил автору.

Однажды сестры остались вдвоем в палибинском доме и Анюта сказала Софье: «Послушай, если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет»<sup>72</sup>. И Анюта вытащила из своего заветного ящичка конверт с красной печатью журнала «Эпоха». На листке крупным почерком было написано: «Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо Ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присланного Вами рассказа.

Признаюсь Вам, я начал читать не без страха: нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам свои литературные опыты на оценку. В Вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но по мере того, как я читал, страх мой рассеивался и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут Ваш рассказ... Рассказ Ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же номере моего журнала... Преданный Вам Федор Достоевский».

После смерти жены и брата, изнемогая под гнетом обрушившихся на него материальных невзгод, Достоевский чувствовал бесконечное одиночество, все как-то вокруг него стало холодно и пустынно — и вдруг, как луч света в темном царстве, письмо и рассказ от чистой и романтической девушки из далекого Палибино.

В ближайшем номере «Эпохи» рассказ «Сон» был напечатан. Между редактором и автором «Сна» завязалась тай-

ная переписка через палибинскую экономку и петербургскую подругу Анны Васильевны, дочь петербургского дворового коменданта А. М. Евреинову. Переписка была тайной, чтобы не вызвать гнев отца-генерала, для которого женщины-писательницы, по словам его младшей дочери, были олицетворением всякой мерзости, он считал каждую из них способной на все дурное.

Катастрофа разразилась совсем неожиданно, когда генералу случайно попало на глаза письмо со штемпелем журнала на имя палибинской экономки, в котором был также гонорар за рассказ «Сон». Мысль о том, что его родная дочь может переписываться с незнакомым мужчиной, старше ее в два раза, бывшим каторжником, да еще получать от него деньги, показалась старому царскому генералу настолько чудовищной и позорной, что ему стало дурно.

В доме произошел грандиозный скандал. Однако в конце концов этот типичный для русских дворянских семей 60-х годов конфликт между отцами и детьми завершился победой детей. Генерал согласился выслушать рассказ в чтении дочери, не нашел в нем ничего предосудительного и, растрогавшись, сменил гнев на милость. Отец разрешил Анюте переписываться с Достоевским, правда, просил показывать ему письма. Но самая большая радость — отец позволил дочери познакомиться лично с писателем во время ближайшей поездки в столицу. Сам генерал не мог отлучиться из имения и поэтому предупредил жену: «Помни, что на тебе будет лежать ответственность. Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным»<sup>73</sup>.

Когда в конце февраля 1865 года Аня и Софья вместе с матерью оказались в Петербурге, в доме у своих тетушек, Аня сразу же пригласила Достоевского в гости. Однако первое свидание было неудачным. И мать и тетушки поняли буквально наказ генерала ни на минуту не оставлять его дочерей с бывшим каторжником и весь вечер просидели в этой же комнате. К тому же они первый раз в жизни видели писателя и поэтому смотрели на него как на какого-то редкого зверя.

А Достоевского это страшно раздражало и злило, и, как это с ним часто бывало в таких случаях, он отвечал односложно, с преднамеренной грубостью и вел себя совсем не как светский человек. Спустя пять дней он неожиданно пришел снова. Ни матери, ни тетушек не оказалось дома, он почувствовал себя совсем раскованно, начал шутить,

смеяться, много рассказывать и полностью очаровал обеих сестер, а пятнадцатилетняя Софья так совершенно в него влюбилась, как может влюбиться девушка ее возраста в такого знаменитого человека. Для пятнадцатилетней Софьи Достоевский был прежде всего великим страдальцем — бывшим каторжником и ссыльным.

Так и воспринимала Достоевского радикально настроенная молодежь 60-х годов, особенно после одного эпизода, случившегося примерно за год до встречи писателя с сестрами Корвин-Круковскими. В это время Достоевский часто бывал в доме одной из будущих пионерок женского медицинского образования в России Надежды Прокофьевны Сусловой (1843—1918). Сохранились воспоминания об одном горячем споре в этом доме между Достоевским и радикальными студентами-медиками тех лет. «Достоевский говорил о будущем русского народа, — пишет мемуарист, — о том, что ему нужно, о его исконных чертах души, развивал те идеи, которые позже выразил в своих творениях. Славянофильская окраска идей Достоевского, с религиозно-мистическим настроением, тогда уже вполне определившимся, — не удовлетворяла его собеседников, «положительно» мыслящих в духе материализма. Один из студентов, особенно азартный оппонент — в упор задал Достоевскому вопрос в такой резкой и прямолинейной формулировке: «Да кто вам дал право так говорить от имени русского народа и за весь народ?!» Достоевский быстрым неожиданным движением открыл часть ноги и кратко ответил изумленной публике, указывая на следы каторжных оков: «Вот мое право!»<sup>74</sup>.

Сестер Корвин-Круковских поразила с первых же встреч пронзительная откровенность Достоевского. Он рассказал им о своей казни на Семеновском плацу, когда, ожидая расстрела, увидел, что солнце вышло из-за туч, и смотрел неотрывно на эти яркие лучи, думая, что через пять минут сольется с ними.

Рассказал сестрам о своей болезни — эпилепсии, которая, по его словам, началась в ссылке, в Семипалатинске, в пасхальную ночь, когда он, страшно возбудившись, спорил со своим товарищем-атеистом о боге: есть бог или нет его?

Рассказывая, он не замечал, с каким обожанием и восторженной любовью подростка смотрит на него младшая сестра Соня (Софья Ковалевская осталась верна своей детской влюбленности, навсегда сохранив к писателю чувство глубокого поклонения и величайшей признательности). Достоевский обращался только к старшей сестре Анне, поко-

ренный замечательной красотой этой высокой и стройной девушки, с прекрасным цветом лица, глубокими зелеными глазами и шелковистыми белокурыми волосами.

Он так был покорен Анною, так был очарован ее молодостью и чистотой, что это свое очарование принял за любовь и уверил в своей влюбленности не только себя, но и ее тоже. (Возможно, здесь сыграл свою роль принцип контраста, светотени: после всего, что Достоевский пережил в отношениях со своей первой женой Марией Дмитриевной и особенно в страстном романе с Аполлинарией Суловой, Анна казалась ему полной противоположностью.)

Однажды вечером, когда писатель и Анна остались вдвоем, он сказал ей о своих чувствах и просил стать его женой. По свидетельству Софьи Ковалевской, Анна Васильевна сразу же после предложения говорила сестре: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем думать. А я этого не могу, я сама хочу жить!»<sup>75</sup>.

Какие пророческие слова, как будто прямо адресованные второй жене писателя, Анне Григорьевне! Именно ей на вопрос, почему не состоялась его свадьба с А. В. Корвин-Круковской, Достоевский ответил: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она — чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым... От всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива!»<sup>76</sup>.

Через несколько лет Анна Васильевна вышла замуж за французского революционера Шарля-Виктора Жаклара (1843—?). Во второй половине 70-х годов, когда Анна Васильевна вместе с мужем оказались в Петербурге, она очень часто навещала семью Достоевского, а тот, в свою очередь, любил заходить к ней. При этом они никогда не испытывали чувства ревности по отношению друг к другу. И это как раз говорит о том, что их весенний роман марта-апреля 1865 года, начавшийся с публикации рассказа «Сон» в журнале «Эпоха», не отличался ни глубиной, ни страстью, а был просто литературной дружбой, хотя и довольно продолжительной и повлиявшей на художественное творчество писателя. Так, некоторые черты психологического и нравственного облика А. В. Корвин-Круковской можно узнать в образах Аглаи в «Идиоте», Ахмаковой в «Подростке» и Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых».

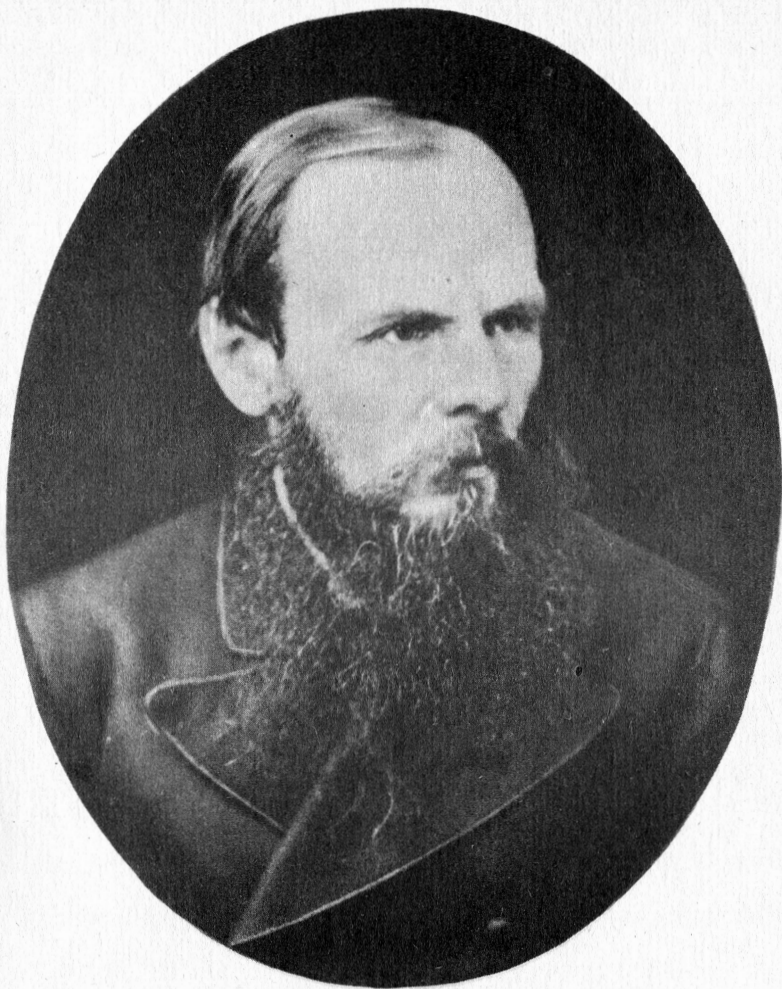


А. Г. Достоевская,  
вторая жена писателя.  
Фотография [1867—1871]

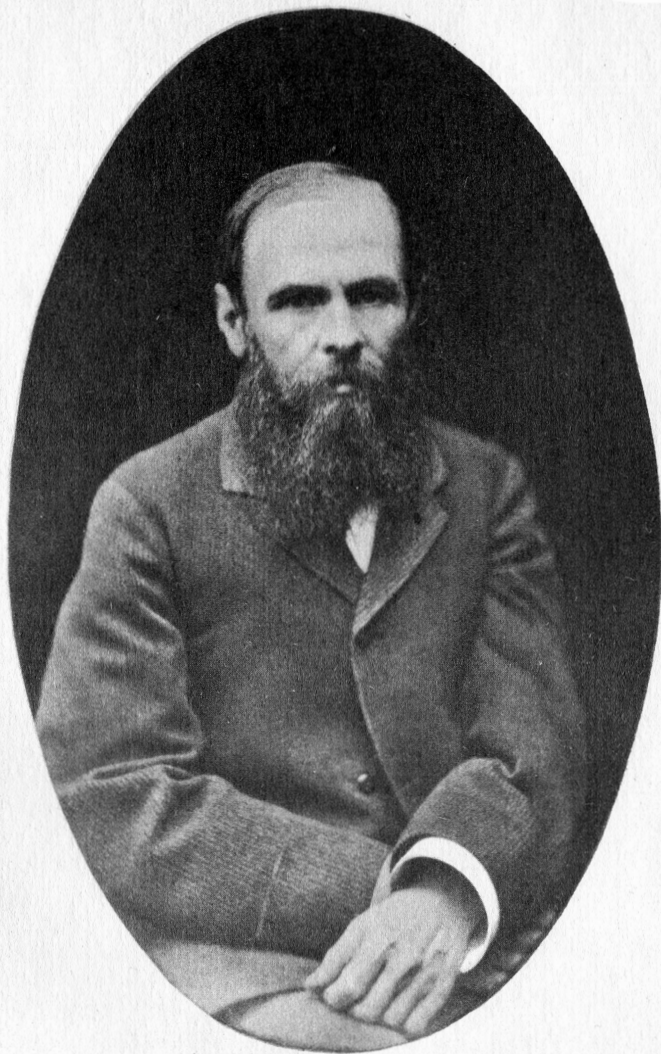


Ф. М. Достоевский.  
Фотография, 1872.

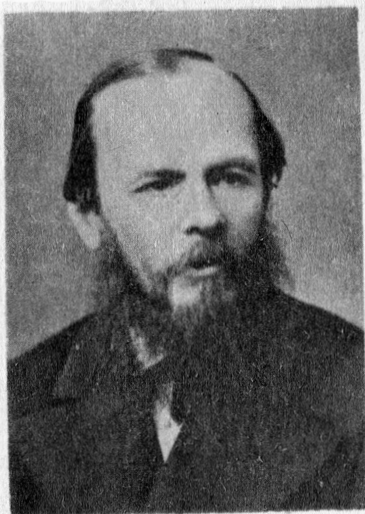




Ф. М. Достоевский.  
Фотография. 1878.

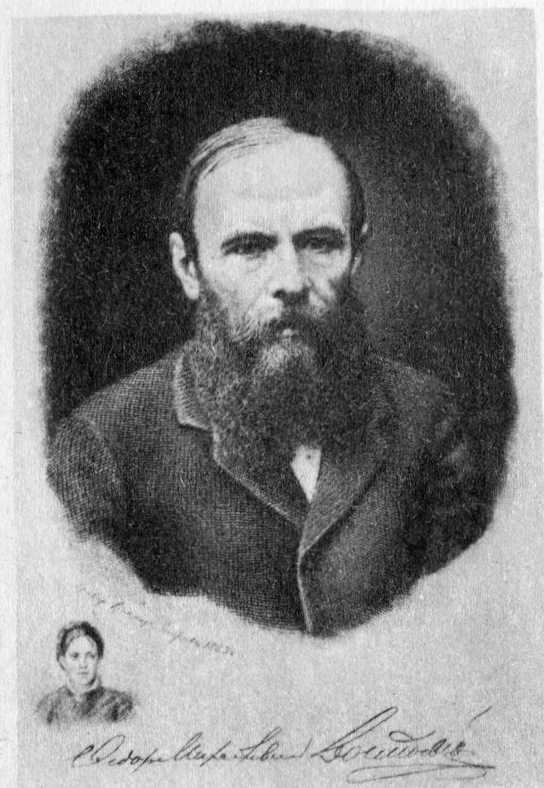


Ф. М. Достоевский.  
Фотография. 1879.



Ф. М. Достоевский.  
Фотография.  
9 июня 1880 г.

Ф. М. Достоевский  
(с портретом А. Г. Достоевской).  
С гравюры В. А. Боброва. 1883.



Через полтора года после первой встречи с Анной Васильевной Достоевский писал ей, что познакомился с удивительной девушкой, которая согласилась выйти за него замуж. Этой девушкой была двадцатилетняя стенографистка Анна Григорьевна Сниткина.

Но этому знакомству предшествовала работа Достоевского над своим величайшим созданием — романом «Преступление и наказание».

## Глава седьмая



### “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”

•

Истоки «Преступления и наказания» восходят ко времени каторги Достоевского. 9 октября 1859 года он писал брату из Твери: «В декабре я начну роман. ... Не помнишь ли, я тебе говорил про одну *исповедь*-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедленно... Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения...»

«Преступление и наказание», задуманное первоначально в форме исповеди Раскольниковова, вытекает из духовного опыта каторги, где Достоевский впервые столкнулся с «сильными личностями», стоящими вне морального закона. «Видно было, что этот человек,— описывает Достоевский в «Записках из Мертвого дома» каторжника Орлова,— мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я поражен был его странным высокомерием».

Но в 1859 году «исповедь-роман» не был начат. «Вынашивание» замысла продолжалось шесть лет. За эти шесть лет Достоевский написал «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома» и «Записки из подполья». Главные темы этих произведений — тема бунта и тема героя-индивидуалиста — синтезировались затем в «Преступлении и наказании».

8 июня 1865 года, прося денег у А. А. Краевского, Дос-

товский предлагал ему для «Отечественных записок» свою новую работу: «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч.»

11 июня А. А. Краевский ответил Достоевскому отказом — ввиду отсутствия у редакции денег и наличия большого запаса беллетристики. 2 июля 1865 года, испытывая тяжелую нужду, Достоевский вынужден был заключить кабальный договор с издателем Ф. Т. Стелловским. За те же три тысячи рублей, которые Краевский отказался заплатить, Достоевский продал Стелловскому право на издание полного собрания сочинений в трех томах да еще обязался написать для него новый роман объемом не менее десяти листов к 1 ноября 1866 года. А если бы писатель не представил роман к этому сроку, то он терял бы на 9 лет права на все свои литературные произведения в пользу Стелловского.

Этот кабальный договор позволил Достоевскому выплатить самые неотложные долги и бежать в конце июля 1865 года со 175 рублями за границу от кредиторов и долгой тюрьмы. Он хочет спокойно поработать над своим первым гениальным произведением. Но за границей денежная драма принимает новую, совершенно неожиданную остроту. За пять дней в Висбадене Достоевский проигрывает в рулетку все, что имеет, вплоть до карманных часов.

Достоевский пишет отчаянные письма с просьбой прислать деньги — А. Е. Врангелю, но не получает ответа; А. И. Герцену — безрезультатно; И. С. Тургеневу — однако тот посылает всего лишь 50 талеров; умоляет своих петербургских знакомых продать какому-нибудь журналу его будущее произведение и прислать ему 300 рублей в качестве аванса, но ни один столичный журнал не соглашается на такие условия. В начале августа в Висбаден приезжает А. П. Сулова, но их совместная нищенская жизнь в убогом отеле продолжается недолго.

Нужда писателя принимает катастрофические размеры. Сулова вскоре уезжает в Париж. «Рано утром мне объявили в отеле, — пишет Достоевский 10/22 августа 1865 года из Висбадена А. П. Суловой, — что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пошел объясниться, и толстый немец-хозяин объявил мне, что я не «заслужил» обеда и что он будет мне присылать только чай. Итак, со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем... Нет выше преступления у немца, как быть без денег и в срок не за-

платить». Через два дня Достоевского лишают света: «Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам, в случае если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек».

В маленькой комнате, без денег, без еды, «в самом тягостном положении» и «в совершенном отчаянии», «сжигаемый какой-то внутренней лихорадкой», при огарке свечи и в полной нищете, как и его герой Раскольников, Достоевский приступил к работе над романом «Преступление и наказание». (И не тот ли огарок свечи вспомнил Достоевский, когда писал центральную сцену романа — чтение Раскольниковым и Соней Евангелия: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги».)

Оставив «Пьяненьких», Достоевский в Висбадене задумал повесть, замысел которой явился зерном будущего «Преступления и наказания».

В сентябре 1865 года Достоевский решил предложить новую повесть журналу «Русский вестник». В письме к издателю этого журнала М. Н. Каткову Достоевский излагает подробную программу своего произведения, его главную идею: «Это — психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшийся некоторым странным, «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна..., зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда не годна», «для чего она живет?», «полезна ли она хоть кому-нибудь?» и т. д. — эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, наоборот, с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, ...и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству» — чем уже, конечно, «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может быть, сама собой померла бы.

...Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы, никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что *принужден* сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое, убили убеждения, даже без сопро [тивления]. Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело».

Достоевский продолжает усиленно работать над планом новой повести в Висбадене, затем на пароходе, возвращаясь в Петербург из Копенгагена, где он гостил неделю у своего семипалатинского друга А. Е. Врангеля. (Вернувшись после отпуска на место службы в Копенгаген, тот нашел два отчаянных письма Достоевского, послал ему деньги и пригласил на обратном пути погостить у него.)

В Петербурге повесть незаметно перерастает в большой роман, и Достоевский решает пожертвовать всем уже написанным и начать все сначала. Главы нового труда в середине декабря 1865 года Достоевский отправил в «Русский вестник». Первая часть «Преступления и наказания» уже появилась в январском номере журнала за 1866 год, однако полностью оно еще не было закончено. Работа над дальнейшим текстом продолжалась весь 1866 год.

Успех первых книжек «Русского вестника» с «Преступлением и наказанием» обрадовал и окрылил Достоевского. 29 апреля 1866 года он пишет своему другу, священнику И. Л. Янышеву: «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтоб кончить его хорошо».

Однако четвертая глава четвертой части — чтение Раскольниковым и Соней Евангелия — смутила щепетильных редакторов «Русского вестника» М. Каткова и Н. Любимова (они посчитали «безнравственным», что Евангелие — самую нравственную книгу в мире — читают убийца и блудница), и они отказались ее печатать. Достоевскому пришлось ее переделывать и доказывать, что в ней нет ничего безнравственного.

Посылая исправленную главу в редакцию «Русского вестника», писатель умолял: «А теперь до вас величайшая просьба моя: ради Христа, оставьте все остальное так, как



есть теперь». Но благонамеренные редакторы не вняли просьбе гения: они вычеркнули ряд строк «относительно характера и поведения Сони». В сознании М. Каткова и Н. Любимова никак не укладывалось, что именно проститутка проповедует учение Христа и наставляет героя на путь его возрождения. Не понимали М. Катков и Н. Любимов, что в чтение убийцей и блудницей вечной книги при тусклом отблеске огарка свечи Достоевский вкладывает глубокий, символический смысл: еще не все погасло в душе Раскольниковова, еще теплится в ней тусклое пламя огарка, но надо покаяться, смириться, чтобы это тусклое пламя огарка разгорелось в негасимый свет.

Весной 1866 года Достоевский, как он писал 9 мая А. Е. Врангелю, собирался уехать в Дрезден и «засесть там на 3 месяца и кончить роман, чтоб никто не мешал». Но многочисленные притязания кредиторов не дали возможности «сбежать» за границу, и лето 1866 года Достоевский проводит в подмосковном селе Люблине, у своей любимой сестры Веры Михайловны Ивановой. Некоторое представление о жизни писателя в семье Ивановых в Люблине дает дачная жизнь семейства Захлебниных в рассказе Достоевского «Вечный муж». На даче у Захлебниных собирается веселая молодежь, «дачные соседки-подружки», среди которых выделяется «бойкая и вострая» девица Марья Никитишна, «зубоскал и даже умница», портрет которой был срисован Достоевским с подруги дочерей В. М. Ивановой Марии Сергеевны Иванчиной-Писаревой. Молодые люди играют в пословицы, в горелки, барышни поют романсы под рояль и устраивают театральные представления в саду, а вечером за самоваром — шутки, смех, споры и веселые разговоры.

Большая и дружная семья В. М. Ивановой состояла из пяти дочерей и трех сыновей. Особенно ценил и любил Достоевский старшую дочь, двадцатилетнюю Соню — девушку редкой душевной чистоты и безграничной доброты. (Через два года писатель посвятит ей роман «Идиот», как бы отождествляя ее по своим высоким нравственным качествам с главным героем романа Львом Николаевичем Мышкиным, хотя первоначальный толчок этому образу мог дать гостивший в это время в Люблине племянник писателя, сын его другой сестры, Варвары, молодой врач Александр Петрович Карепин, необычайно кроткий и смиренный человек, прозванный даже за некоторые странности и причуды «идиотом».)

Вторая дочь В. М. Ивановой, восемнадцатилетняя Маша, ставшая вскоре блестящей музыкантшей, ученицей

Н. Г. Рубинштейна (причем Достоевский говорил, что она вся «прелесть, грациозность, наивность», «ярко объявившийся талант»), вспоминала через шестьдесят лет о пребывании писателя в Люблине в 1866 году:

«Дни и вечера Достоевский проводил с молодежью. Хотя ему было сорок пять лет, он чрезвычайно просто держался с молодой компанией, был первым затейником всяких развлечений и проказ. И по внешности он выглядел моложе своих лет. Всегда изящно одетый, в крахмальной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке, Достоевский следил за своей наружностью и очень огорчался, например, тем, что его бородка была очень жидка. Этой слабостью пользовались его молоденькие племянницы и часто поддразнивали дядюшку его «бороденкой»...

Во всех играх и прогулках первое место принадлежало Федору Михайловичу. Иногда бывало, что во время игр он оставлял присутствующих и уходил к себе на дачу записать что-либо для своей работы. В таких случаях он просил минут через десять прийти за ним. Но когда за ним приходили, то заставляли его так увлеченным работой, что он сердился на пришедших и прогонял их. Через некоторое время он возвращался сам, веселый и опять готовый к продолжению игры...»<sup>77</sup>.

Студент Московского межевого института Н. Фон-Фохт вспоминает, что в играх с молодежью в Люблине Достоевский предложил однажды воспроизвести сцену из «Гамлета», причем в этой шуточной пародии он изображал сам тень короля, закутавшись с головою в простыню, был очень весел и «почти всегда что-нибудь напевал про себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа»<sup>78</sup>. В Люблине Достоевский услышал романс на слова Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» («У тебя бриллианты и жемчуг...»). В «Преступлении и наказании» этот романс поет Катерина Ивановна Мармеладова.

Глубокая, чистая, духовная любовь Достоевского к Софье Ивановой, увлечение писателя невесткой сестры Еленой Павловной Ивановой, предчувствие близких радостных перемен в личной жизни, общение с замечательной молодежью, боготворившей его, успешная работа над «Преступлением и наказанием» — все это сделало люблинское лето 1866 года первым счастливым временем в жизни Достоевского после смерти жены и брата.

Однако в Люблине Достоевский оказался вынужденным одновременно с «Преступлением и наказанием» думать над другим романом, обещанным издателю Ф. Стелловскому при заключении с ним в 1865 году кабального договора.

Писатель решается на невероятный, фантастический план, который он изложил в письме к А. В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 года: «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку. Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, что до сих пор мне вот такие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей... Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я *постоянно* пишу, Тургенев умер бы от одной мысли. Но если б вы знали, до какой степени тяжело портить мысль, которая в вас рождалась, приводила вас в энтузиазм, про которую вы сами знаете, что она хороша, и быть принужденным портить, и сознательно!»

Достоевский совершил писательский подвиг: он «сделал небывалую и эксцентрическую вещь», правда, не в четыре, а в шесть месяцев. В Люблине был составлен план «Игрока» — романа для Стелловского — и продолжалась работа над «Преступлением и наказанием». Однако, возвратившись в Петербург, Достоевский совсем забыл об обязательстве Стелловскому: за месяц до истечения срока контракта ни одной строчки «Игрока» еще не было написано. Писатель весь во власти своего первого большого романа, который почти весь 1866 год печатался в «Русском вестнике».

«Преступление и наказание» в какой-то мере продолжает тему «Записок из подполья». Очень рано Достоевскому открылось таинственное противоречие человеческой свободы. Весь смысл и радость жизни для человека именно в ней, в волевой свободе, в этом «своеволии» человека. И это «своеволие», полемизирует Достоевский в «Записках из подполья» с произведением Чернышевского «Что делать?», сделает невозможным построение «хрустального дворца», будущего социалистического общества (Четвертый сон Веры Павловны).

В «Преступлении и наказании» проблема «своеволия» получает несколько иное художественное решение. Писатель вскрывает сущность «своеволия» Раскольникова: за словами Раскольникова о «благе человечества» (эквивалент «хрустального дворца») отчетливо проступает «идея Наполеона» — идея одного избранного, стоящего над человечеством и предписывающего ему свои законы.

Достоевский ставит еще один вопрос: допустимо ли нравственно построение этого «хрустального дворца»? Допустимо ли, чтобы один человек (или группа людей, что

равноценно) взял на себя смелость, присвоил себе право стать «благодетелем человечества» со всеми вытекающими отсюда последствиями? Старуха-процентщица — символ современного зла. Допустимо ли ради счастья большинства уничтожение «ненужного» меньшинства? Раскольников отвечает на этот вопрос: возможно и должно, ведь это же «простая арифметика». Но Достоевский всем художественным содержанием романа отвечает: нет, невозможно — и последовательно опровергает своеволие («наполеонизм») Раскольникова.

Если один человек присваивает себе право физического уничтожения ненужного меньшинства ради счастья большинства, то «простой арифметики» не получится: кроме старухи-процентщицы, Раскольников неожиданно убивает и Лизавету — ту самую униженную и оскорбленную, ради которой, как он пытается внушить себе, и был поднят топор.

«Преступление и наказание» считается самым социально острым произведением Достоевского: писатель убедительно показывает, что капитализм создает еще большую пропасть между бедными и богатыми. Вот почему в «Преступлении и наказании» Достоевский художественно исследует глубочайшую этическую проблему человеческого общежития — проблему примирения бесконечной ценности человеческой личности и вытекающей отсюда равноценности всех людей с реальным неравенством их, логически приводящим, по видимому, к признанию их неравноценности.

Убеждение в неравноценности людей — основное убеждение Раскольникова. Для него весь род человеческий делится на две неравные части: большинство, толпу обыкновенных людей, являющихся сырым материалом истории, и немногочисленную кучку людей высшего духа, делающих историю и ведущих за собой человечество.

На первый взгляд его рассуждения о двух разрядах очень логичны. Раскольников верит в свою «теорию» даже тогда, когда идет доносить на себя, даже после суда, на каторге. Но, несмотря на убеждение в своей правоте, он под влиянием Сони, ее правды принимает наказание за преступление, которого, по его убеждению, не совершал. Что-то высшее, чем доводы рассудка, побеждает его волю. Эта борьба заглохшей совести, протестующей против пролитой крови, и разума, оправдывающего кровь, и составляет душевную драму Раскольникова после преступления. Это и дорого Достоевскому.

Даже когда совесть — непонятный Раскольникову нравственный инстинкт — окончательно побеждает, когда Рас-

кольников уже томится на каторге, разум его все не сдается и все отказывается признать свою неправоту. «И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут!.. Но он не раскаивался в своем преступлении... Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что он не вынес его и сделал явку с повинною».

Эта явка с повинною доказывала в его глазах не то, что его теория неверна, а то, что он сам не принадлежит к числу великих людей, которые могут преступать нравственные законы. «Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? — так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон...»

И только на каторге, буквально на последней странице романа, в душе героя совершается переворот: он возрождается к новой жизни. Нравственное сознание победило. Таков выход из трагедии Раскольникова. Совесть, натура оказались сильнее теории. «В теории ошибка вышла», — ехидно говорит Свидригайлов Раскольникову.

В чем же ошибочность теории Раскольникова? С точки зрения утилитарной морали, с точки зрения Лужина, против нее совершенно нечего возразить. Чтобы в государстве было больше счастливых людей, нужно поднять общий уровень зажиточности, а так как основой хозяйственного прогресса является личная выгода, каждый должен о ней заботиться и обогащаться, не беспокоясь о любви к людям и тому подобных романтических бреднях. Лужинский призыв к личной наживе — неизбежное следствие лозунга Раскольникова: «сильному все позволено». Недаром на рассуждения Лужина: «Наука... говорит: возлюби одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано», — Раскольников говорит: «Доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать».

Если на минуту допустить, что в каком-то частном случае общество может выиграть от убийства, то распространение в нем равнодушия к человеческой жизни, несомненно, опасно и невыгодно для него; поэтому общество заинтересовано в том, чтобы убийство внушало страх человеку совершенно независимо от того, каковы будут последствия убийства. Все это так, но ни малейшим образом не колеблет теории Раскольникова: ведь и он согласен, что масса должна быть подвластна слепому инстинкту страха крови. Он требует только свободы от этого инстинкта для немногих избранников человечества, которые могут ради счастья людей «переступить закон», а с точки зрения утилитарной

морали убийство человека, если оно увеличивает сумму счастья в обществе, нравственно.

Именно неотразимая логика этого рассуждения и губит Раскольникова: он не боится правды, не хочет подчиняться слепым инстинктам — и гибнет. Следовательно, в его рассуждении была какая-то ошибка.

Раскольников и ему подобные, продолжает Достоевский развивать второй аргумент против «бунта» Раскольникова, исходят первоначально из гуманной идеи, из благородного и великодушного порыва — защитить униженных и оскорбленных, бедных и страдающих (исповедь Мармеладова и письмо матери и явились последним решающим звеном в «бунте» Раскольникова). Следовательно, развивает свою мысль Достоевский, диалектика «идеи бунта» такова, что если Раскольников и ему подобные берут на себя такую высокую миссию — защитников униженных и оскорбленных, то они неизбежно должны считать себя людьми необыкновенными, которым все позволено, то есть неизбежно кончать презрением к тем самым униженным и оскорбленным, которых они защищают.

Вот почему человечество у Раскольникова делится на два лагеря: «избранные», «власть имеющие» — и «тварь дрожащая». Поэтому для Раскольникова важно не счастье людей, а вопрос: кто он — «избранный», «власть имеющий» или «тварь дрожащая»? И в этом главный аргумент Достоевского против всех идей и теорий бунта — ниспровержения существующего строя (Раскольников не изображен социалистом, но для Достоевского это не имело значения, — он брал общую категорию бунта).

Третий аргумент Достоевского против «бунта» Раскольникова вытекает непосредственно из его «разрешения крови по совести». Ведь если разрешить себе «кровь по совести», то неизбежно превратишься в Свидригайлова, которому вечность мерещится вроде деревенской бани — «закоптелой и по всем углам пауки». Свидригайлов — тот же Раскольников, но уже окончательно «исправленный» от всяких предрассудков. Он воплощает одну из возможностей судьбы героя. Свидригайлов преграждает Раскольникову все пути, ведущие не только к раскаянию, но даже к чисто официальной явке с повинной. И не случайно только после самоубийства Свидригайлова Раскольников учиняет эту явку с повинной.

«Натура» — один из символов художественной и человеческой веры Достоевского. Четвертый аргумент Достоевского против «бунта» Раскольникова заключается в словах Порфирия Петровича: «Действительность и натура... есть

важная вещь, и уж как иногда самый прозорливейший расчет подсекают!» Натура человека, считал Достоевский, противится любым доводам разума, если они идут вразрез с ней. Действительно, хотя Раскольников и не испытывает раскаяния, он чувствует себя отрезанным от всех людей и даже с родной матерью не может встретиться так, как раньше, а «ведь надобно же, — как говорит Мармеладов, — чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти».

Наиболее последовательно защищает «натуру» человека Разумихин. Он отвергает всю надуманную теорию Раскольникова, отвергает просто потому, что преступление претит здравому человеческому смыслу, претит натуре человека.

Наконец, последний, пятый аргумент Достоевского против «бунта» Раскольникова не соотносится непосредственно с самим романом и с «бунтом» его героя, а является аргументом писателя против общей категории бунта, против любого бунта как такового. Именно с «натурой» связано неверие Достоевского в переустройство мира по «логике» и «разуму», его взгляды на проблему добра и зла в человеке. Роман «Преступление и наказание» написан Достоевским после каторги, когда убеждения писателя приняли религиозную окраску. Поиски правды, обличение несправедливого устройства мира, мечта о «счастье человеческом» сочетаются в Достоевском с неверием в насильственную переделку мира. Думая, что ни в каком устройстве общества не избежать зла, что душа человеческая всегда останется та же, что зло исходит из нее самой (мысль, положенная еще в основу ранней повести «Двойник»), Достоевский отвергает революционный путь преобразования общества, ставя вопрос лишь о нравственном совершенствовании каждого человека.

Важнейшую роль в романе играет Соня Мармеладова. Именно она прежде всего олицетворяет собой правду Достоевского. Если одним словом определить натуру Сони, то это слово будет «любящая». Деятельная любовь к ближнему, способность отзываться на чужую боль (особенно глубоко проявившаяся в сцене признания Раскольникова в убийстве) делает образ Сони идеальным (в хорошем смысле слова). Именно с позиций этого идеала в романе и произносится приговор.

Для Сони все люди имеют одинаковое право на жизнь. Никто не может добиваться счастья, своего или чужого, путем преступления. Грех остается грехом, кто бы и во имя чего бы его ни совершил. И Соня, тоже «преступившая» и загубившая душу свою, «человек высокого духа», одного

«разряда» с Раскольниковым, осуждает его за презрение к людям и не принимает его «бунта», его «топора», который, как казалось Раскольникову, был поднят во имя ее. Соня, по мысли Достоевского, воплощает народное начало, русскую народную стихию: терпение и смирение, безмерную любовь к человеку. Поэтому столкновение Раскольникова и Сони, мировоззрение которых противопоставлено друг другу как идеологическая основа всего романа, очень важно. Идея «бунта» Раскольникова, по мысли Достоевского, «аристократическая» идея, идея «избранного» — неприемлема для Сони. Только народ в лице Сони может осудить «наполеоновский» бунт Раскольникова, заставить его подчиниться такому суду и пойти на каторгу — «страдание принять».

В лице Раскольникова Достоевский казнит революционный «бунт» собственной молодости. (Недаром Раскольников «жил» в доме Шилия, где был арестован петрашевец Достоевский, и недаром в эпилоге «Преступления и наказания» писатель рисует картину Омского острога, где он сам провел четыре каторжных года, будучи, как и Раскольников, «ссылочно-каторжным второго разряда».)

Проблема религиозности Достоевского, сущность православной этики в ее взаимоотношениях с этической концепцией писателя — это идея усовершенствования мира путем христианской нравственности. Самая трудная проблема на этом пути, точнее говоря, неразрешимая проблема для нашего «эвклидова» ума — это проблема мирового зла. Преодолевается она у Достоевского мистической идеей вины каждого за всех. (Вот почему православный Миколка берет на себя вину Раскольникова.) Неотмщенное безвинное страдание заставляет Раскольникова и Ивана Карамазова отвергнуть мир во имя оскорбленного нравственного чувства, требующего мести, но есть нечто более высокое, чем месть, — это прощение и любовь.

Спасает и воссоединяет отпавшего человека с богом только любовь, считал Достоевский. Сила любви такова, что она может содействовать спасению даже такого нераскаявшегося грешника, как Раскольников. Религия любви и самопожертвования приобретает исключительное и решающее значение в христианстве Достоевского.

И если Достоевский всегда сохранял в сердце человеческий образ Иисуса, преклоняясь перед его внутренней нравственной силой и красотой, то к богочеловеку-Христу, к идее бессмертия писатель пришел после переоценки ценностей на каторге. «...Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, — писал он. — А высшая идея



на земле лишь одна, а именно — о бессмертной душе человеческой...»

Мысль о неприкосновенности любой человеческой личности играет главную роль в понимании идейного смысла романа. Главный герой «Преступления и наказания» хотел логически обосновать, рационализировать нравственный закон, который по самому своему существу не допускает этого. Он хотел вполне рациональной морали и логическим путем пришел к ее полному отрицанию. Раскольников искал доказательств нравственного закона и не понимал, что он не требует доказательств, не должен, не может быть доказан, ибо он получает свою верховную санкцию не извне, а из самого себя. Почему личность всякого человека представляет собой святыню? Никакого основания для этого привести нельзя — таков закон человеческой совести. Недаром в подготовительных материалах к роману Достоевский запишет: «есть один закон — закон нравственный».

Каково бы ни было происхождение этого закона, он реально существует в душе человека и не допускает своего нарушения. Раскольников попробовал его нарушить — и пал. И так должен пасть каждый, кто, обладая духовным сознанием, нарушает этот закон, закон человеческой совести. Этот закон провозглашает, что всякая человеческая личность есть верховная святыня, ибо от высоко нравственного человека до злодея существует бесчисленное множество незаметных переходов: на какой же из этих степеней личность перестает быть священной?

В образе Раскольникова Достоевский казнит отрицание самоценности человеческой личности и всем содержанием романа показывает, что любая человеческая личность, в том числе и такая отвратительная, как старуха-процентщица, священна и неприкосновенна и что в этом отношении все люди равны.

Все, даже самые идеальные, мерилა добра, правды и разума меркнут перед величием и значительностью самой реальности человеческого существа, перед его духовностью.

Идея высшей ценности человеческой личности нашла в авторе «Преступления и наказания» своего мощного защитника и выразителя. Мысль о неприкосновенности всякой человеческой личности играет главную роль в понимании идейного смысла романа.

Вот почему после «Преступления и наказания» должен был обязательно появиться роман «Идиот», после «бунтаря» Раскольникова, проповедовавшего «разрешение крови», — идеальный, «положительно прекрасный человек»,

«князь-Христос» — Лев Николаевич Мышкин, всем своим существом, каждым жизненным шагом проповедующий любовь к ближнему.

Роман «Преступление и наказание» произвел большое впечатление на современников. Но радость Достоевского была омрачена невыполненным обязательством перед издателем Стелловским...

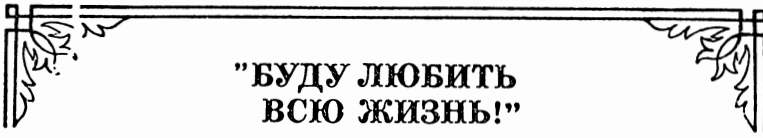
Хороший знакомый Достоевского, педагог и литератор Александр Петрович Милюков, автор широко известной книги «Очерки по истории русской поэзии», по поводу которой Н. А. Добролюбов написал одну из своих замечательных статей «О степени участия народности в развитии русской литературы», вспоминает, что когда он зашел к Достоевскому 1 октября 1866 года, то, оказывается, до срока сдачи нового романа Стелловскому оставался ровно месяц, а он еще не был начат.

Милюков предложил каждому из их приятелей дать возможность написать по главе, а Достоевский потом соединит эти главы в одно произведение. Но писатель наотрез отказался поставить свое имя под чужим произведением.

Тогда Милюков предложил для быстроты взять стенографа. «Это другое дело, — согласился Достоевский, — я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно... Спасибо вам, необходимо это сделать, хоть и не знаю, сумею ли. Но где стенографиста взять? Есть у вас знакомый?»<sup>79</sup>.

Милюков слышал про стенографические курсы П. М. Ольхина и решил к нему обратиться за помощью...

## Глава восьмая



**"БУДУ ЛЮБИТЬ  
ВСЮ ЖИЗНЬ!"**

•

В ясное, по-петербургски холодное утро 4 октября 1866 года скромно одетая девушка подошла к дому купца Алонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка. Вчера, во время занятий на курсах стенографии, преподаватель Павел Матвеевич Ольхин предложил ей срочную работу у литератора Достоевского.

Получив от П. М. Ольхина адрес Достоевского, стенографистка плохо спала всю ночь. Конечно, она страшно

радовалась и была бесконечно счастлива, что будет работать у своего любимого писателя. А с другой стороны, ее пугало, что завтра придется разговаривать с таким ученым и умным человеком: а вдруг он заговорит с ней о литературе, о своих произведениях, спросит ее мнение о них?

Впоследствии она признавалась, что ни с чем нельзя было сравнить то волнение, которое она испытывала, идя к своему кумиру. Надо сказать, что все писатели представлялись стенографистке какими-то неземными, высшими существами, а автор «Преступления и наказания» и подавно. Натура ее всегда требовала поклонения чему-то высшему, и еще до 4 октября 1866 года таким высоким и святым для нее стал Достоевский. За несколько месяцев до смерти она призналась, что любила Достоевского еще до встречи с ним...<sup>80</sup>.

Стенографистку звали Неточка (Анна Григорьевна) Сниткина. Ей только исполнилось двадцать лет. Это была невысокая худощавая девушка с овальным лицом и очень хорошими, пронизательными и глубокими серыми глазами. Подруги хвалили ее открытый лоб, чуть-чуть выступающий волевой подбородок, пепельные волосы. Ее отец, недавно умерший мелкий чиновник Григорий Иванович Сниткин, большой почитатель таланта Достоевского, сумел и дочери привить любовь к его творчеству. Мать, Анна Николаевна Сниткина, — обруселая шведка финского происхождения, от которой Анна Григорьевна, вероятно, унаследовала такие черты, как решительность, целеустремленность и собранность<sup>81</sup>.

Поднявшись по невзрачной лестнице, девушка позвонила в квартиру № 13. Дверь открыла пожилая служанка в драдедамовом платке. «Не в этот ли самый „семейный драдедамовый платок“ куталась Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании», — невольно подумала стенографистка.

Достоевский жил вместе со своим пасынком Пашей Исаевым и преданной прислугой Федосьей. Обстановка квартиры была скромной, даже бедной. В скудно мебелированном (диван, зеркало и письменный стол) кабинете висел портрет сухощавой дамы в черном платье: то была Мария Дмитриевна Исаева — первая жена писателя, умершая два года назад.

Станным показался скромной стенографистке знаменитый хозяин квартиры. Измученное, болезненное лицо, светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы, щедро намаженные, и, что особенно ее поразило, — совершенно разные глаза (она не знала, что во время приступа эпилеп-

сии Достоевский, падая, наткнулся на острый предмет и сильно поранил свой правый глаз).

В 1883 году Анна Григорьевна вспоминала о своей первой встрече с Достоевским: «Ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович в первое наше свидание. Я видела перед собою человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу; человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда. Мне было бесконечно жаль его»<sup>82</sup>.

Стенографистку направили помогать писателю в особо трагичный момент его жизни. Через двадцать шесть дней истекал срок сдачи нового романа «Игрок» издателю Стелловскому. Хитрый издатель, который всегда подстерегал русских писателей и музыкантов в особо тяжелые минуты их жизни (так он «подловил» А. Ф. Писемского, В. В. Крестовского и всего за 25 рублей купил права на издание сочинений М. Н. Глинка), был уверен, что Достоевский не сдаст роман к 1 ноября 1866 года. Он прекрасно знал, что Достоевский больной человек, что эпилептические припадки, которые бывали раз или два в месяц, выбивали писателя из обычной колеи (очередной припадок был за день до прихода стенографистки — вот почему он показался ей нервным и рассеянным), не давая ему возможности заниматься творческой работой. Но все же главную ставку расчетливый издатель делал не на болезнь Достоевского и не на его долговые обязательства, хотя они и были очень тяжелыми. Прежде чем подписать с Достоевским контракт, Стелловский успел через своих агентов выяснить, что писатель уже работает над романом «Преступление и наказание» для журнала «Русский вестник» и писать одновременно другой роман, да еще объемом в 10 печатных листов, не сможет.

Стелловский рассчитал все правильно. Он только не считал одного, а вернее, просто не понял, что имеет дело с гением такой гигантской, нечеловеческой силы, как Достоевский. Чтобы избавиться от грозившей ему долговой тюрьмы и нищеты, писатель решается на невероятный шаг: писать одновременно два романа.

Вторым романом предполагался «Игрок». Всю вторую половину 1865 года и первые девять месяцев 1866 года Достоевский усиленно работал над «Преступлением и наказанием». И дело не только в том, что он честно выполнил свои обязательства перед редакцией «Русского вестника». Достоевский понимал, что рождается его первое большое про-

изведение, что ничего из того, что он написал до «Преступления и наказания», не может идти ни в какое сравнение с этим романом. Вот почему он с таким вдохновением работал над «Преступлением и наказанием», забывая порой, что приближается 1 ноября 1866 года — срок сдачи нового романа Стелловскому.

В тот день, когда молоденькая стенографистка Нечочка Сниткина пришла помогать Достоевскому, роман «Игрок» существовал лишь в черновых заметках и планах. Вся надежда теперь только на стенографистку. Достоевский никогда не диктовал своих произведений, но другого выхода не было. Роман «Преступление и наказание» был временно отложен (Достоевский предупредил редакцию «Русского вестника», что весь октябрь будет работать над другим романом), и ожесточенная борьба писателя и его юной помощницы с издателем-хищником началась. Тяжелое впечатление, вынесенное Анной Григорьевной от первой встречи с Достоевским, рассеялось, когда она пришла к нему во второй раз, вечером. Он вдруг разговорился и увлекся воспоминаниями, как это с ним часто бывало, когда он имел дело с искренним и благодарным слушателем. И тогда собеседников Достоевского, особенно тех, кто видел его первый раз в жизни, поражали его пронзительная откровенность и доверчивость. Так было и на этот раз. Девушка была удивлена и потрясена его рассказом о казни петрашевцев на Семеновском плацу.

Стенографистка сначала не поняла причину доверчивости и откровенности недавно еще столь скрытного и угрюмого человека. Но ее недоумение длилось недолго. Скоро она разгадала причину его доверчивости и откровенности. Она почувствовала, что он бесконечно добрый и замечательный человек, но страшно одинок и очень нуждается в душевном тепле и участии, так как жизнь оборачивалась к нему до сих пор в основном теневой стороной.

И поразительно, как эта двадцатилетняя девушка так быстро прониклась к Достоевскому тем самым состраданием, которое заключается, по учению самого писателя, в способность понять человека, проникнуть в то доброе, что у него есть, и оценить его. Она не все понимала в его произведениях, но почти сразу и безошибочно научилась читать в его израненном сердце (как Настенька в «Белых ночах» в первую же ночь разгадала чистое и благородное сердце Мечтателя, а Наташа в «Униженных и оскорбленных» сразу же почувствовала душевную красоту Ивана Петровича).

С 4 октября 1866 года они ежедневно работали по не-

сколько часов. Он писал «Игрока» по ночам, а днем диктовал ей написанное. Вечером у себя дома Анна Григорьевна разбирала и переписывала начисто стенограмму, а на другой день Достоевский окончательно исправлял приготовленные ею листы. Оба были предельно напряжены. Вскоре выяснилось, что работа идет успешно: «Игрок» мог поспеть к сроку. Неточка Сниткина не жалела ни времени, ни сил, чтобы помочь писателю. Ее страшно возмутил его рассказ о грабительском контракте со Стелловским, и она решила во что бы то ни стало спасти его от разорения.

Неточка Сниткина вдруг безошибочно почувствовала своим сострадальным женским сердцем бесконечное одиночество писателя. Она ведь уже прочла в «Русском вестнике» «Преступление и наказание», но только сейчас, кажется, поняла весь сокровенный смысл слов Раскольникова: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди... должны ощущать на свете великую грусть».

Но для Анны Григорьевны дело было, конечно, не только и даже не столько в том, что мировые проблемы автора «Преступления и наказания» были недоступны его современникам. Она поняла, что он ищет семейное счастье, почувствовала, что он страшно нуждается в женской сердечной дружбе и привязанности.

Всего лишь через шесть месяцев со дня первой встречи с Достоевским Анна Григорьевна писала о Достоевском своей подруге С. А. Кашиной: «...Что это за прекрасный, сердечный, добрый, бесконечно добрый человек! Его мало кто хорошо знает. Он вечно угрюм, раздражителен, но если б кто знал, сколько под этим скрывается теплоты, доброты и человечности. Чем больше его знаешь, тем сильнее привязываешься к нему. Я знаю, что и он меня сильно любит, и это делает меня до того счастливою, что я порою думаю, что я не стою такого счастья...»<sup>83</sup>. Писатель и стенографистка так привыкли друг к другу, во время совместной работы над «Игроком», что оба искренно огорчились, когда роман стал подходить к концу. Достоевский очень не хотел расставаться с Неточкой Сниткиной. И не только потому, что она была отличной стенографисткой. Главное было, конечно, не в этом. Достоевский почувствовал в Анне Григорьевне прежде всего доброе сердце. В одном из своих писем в это время писатель рассказывал: «Стенографка моя, Анна Григорьевна, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно...»

29 октября 1866 года Достоевский продиктовал Анне Григорьевне заключительные строки «Игрока».

Еще в 1863 году Достоевский писал Н. Н. Страхову о замысле «Игрока» и о его главном герое: «Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он — игрок, и не просто игрок, так же как Скупой Рыцарь не простой скупец... Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает в его глазах самого себя...»

За внешним весьма эффектным и живописным действием протекает внутреннее — трагическое и драматическое действие. Трагизм этого внутреннего действия «Игрока» заключается в том, что рассказчик, молодой дворянин Алексей Иванович, охвачен двумя чувствами: любовью к падчерице генерала Загорьянского и страстью к рулетке.

Роман «Игрок» повествует о бесплодно гибнущем в разгуле, страстях и азарте талантливом и одаренном русском человеке (судьба Алексея Ивановича). Когда же появится русский «положительно прекрасный человек»? Эта мысль приводит писателя к теме его следующего романа «Идиот».

Достоевский совершил писательский подвиг: за 26 дней создал роман «Игрок» в десять печатных листов. Случай невиданный в мировой литературе! Но он прекрасно понимал, что без помощи Анны Григорьевны никогда бы не смог за такой короткий срок написать роман такого объема: ведь это она уредила его продлить стенографические сеансы и ночи напролет переписывала зашифрованное.

Достоевский не захотел прекращать знакомства и сказал девушке, что после недельного отдыха хочет с ее помощью приняться за последнюю часть и эпилог «Преступления и наказания».

8 ноября Неточка Сниткина снова пришла в хорошо знакомую ей квартиру № 13 в доме купца Алонкина. Писатель явно обрадовался ее приходу, но был то весел, то грустен, то странно возбужден и вообще выглядел моложе своих лет. Она не понимала причину этого странного возбуждения.

Стенографистка уже давно нравилась Достоевскому. Ему импонировали ее чувство долга, аккуратность, трудолюбие, а главное, ее доброта. Эта двадцатилетняя девушка искренно заботится о нем: о его здоровье, пище, одежде, отдыхе, быте, великолепно знает его произведения, преклоняется перед его талантом, верит в его высокое писательское предназначение и помогает в самом священном для него деле — в писательском труде.

Кажется, все было за то, чтобы он сделал предложение своей стенографистке. Он понимал, что она будет преданной женой и прекрасной матерью семейства (когда он ездил к ней домой и познакомился с ее матерью, то увидел, в какой хорошей нравственной атмосфере она росла), а он так хотел иметь семью. Совсем недавно с щемящей грустью писал он Александру Егоровичу Врангелю: «...Вы, по крайней мере, счастливы в семействе, а мне отказала судьба в этом великом и единственном человеческом счастье».

Он чувствовал, что проникается к Анне Григорьевне хорошо знакомым ему волнующим чувством любви, но многое его и смущало, прежде всего большая разница в годах. Он ведь сам недавно в «Дядюшкином сне» высмеял ухаживания старого князя за молодой девушкой, а уж смешным он быть не хотел, да и в памяти еще были живы отказы и Аполлинарии, и Анны Васильевны Корвин-Круковской, не говоря уже о том, что и Мария Дмитриевна, и Аполлинария предпочли ему в самую страстную минуту его любви более молодых соперников...

И тогда Достоевский решил прибегнуть к самому необычному способу объяснения в любви. Анна Григорьевна приготовилась услышать условия работы над окончанием «Преступления и наказания», а Достоевский неожиданно стал ей рассказывать о своих снах, которым он всегда придавал большое значение и называл их вещими, и вдруг заявил, что в эти дни задумал написать новый роман.

И появилась блестящая импровизация, такая же блестящая, как и тогда, когда он диктовал ей «Игрока». Главный герой этого нового романа — пожилой и больной художник, много переживший, потерявший родных и близких. Достоевский так подробно рассказывал о жизни этого художника, что Анна Григорьевна быстро догадалась, что речь идет о самом Достоевском. Но когда писатель сказал, что в его новом романе этот пожилой и больной художник встречает молодую девушку Аню, Анна Григорьевна подумала об Анне Васильевне Корвин-Круковской. Достоевский сам рассказал ей о недавнем увлечении этой красивой и умной девушкой, а новый роман мог возникнуть под впечатлением недавнего письма от Анны Васильевны, о котором он говорил стенографистке.

В этот момент Анна Григорьевна совсем забыла, что ее тоже зовут Анной. И вдруг Достоевский спросил Анну Григорьевну, считает ли она психологически достоверным, если эта молодая девушка Аня, столь различная по характеру и по летам, полюбила такого старого и больного человека, как его герой. Не будет ли это страшной жертвой с ее сто-



роны? Под впечатлением от замысла нового романа Анна Григорьевна начала восторженно доказывать, что это вполне возможно, если у героини доброе сердце. И тогда, конечно, никакой жертвы со стороны этой Ани не будет, а болезней и бедности совсем не надо бояться, ведь любят же в конце концов не за внешность и богатство. А если Аня его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей в своей любви никогда не придется!

Через полвека Анна Григорьевна вспоминала:

«Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.

— И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

— Поставьте себя на минуту на ее место,— сказал он дрожащим голосом.— Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор, и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!»<sup>84</sup>.

И она сдержала свое обещание.

Почему Достоевский объяснился в любви таким оригинальным способом? Он был на двадцать пять лет старше своей невесты. Бывший каторжник, находящийся под негласным надзором полиции, профессиональный литератор, то есть человек, материальное положение которого всегда было неустойчивым, обремененный огромными долгами и бесконечными обязательствами перед многочисленной родней, наконец, больной человек. И все же, как бы ни весомы были все эти причины, не они были, в конечном итоге, решающими, заставившими Достоевского прибегнуть к «художественному» признанию в любви.

Главное было в другом. Достоевский прекрасно понимал, что это для него, может быть, последняя возможность иметь семью, иметь детей, то есть исполнить самую задушевную, но пока недостижимую мечту. И если бы Анна Григорьевна отказала ему, для него это было бы страшным ударом. Поэтому Достоевский решил прибегнуть к литературной импровизации. И только тогда, когда он по выражению лица Анны Григорьевны и по ее репликам оконча-

тельно убедился, что она любит его, он решил открыться и поставить себя на место своего литературного героя.

«При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит,— рассказывал Достоевский о необычных обстоятельствах своей женитьбы,— хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась... Разница в годах ужасная..., но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет».

Первое письмо Достоевского к своей юной невесте началось словами: «Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий. Ты мое будущее все — и надежда, и вера, и счастье, и блаженство».

Хотя предлодение Достоевского явилось для Анны Григорьевны неожиданностью, внутренне она была к нему готова. Позднее, когда ее спрашивали, как она все-таки решилась на брак с человеком старше ее на двадцать пять лет, бывшим каторжником, вдовцом, кругом в долгах, имеющим материальные обязательства перед многочисленной родней, Анна Григорьевна каждый раз отвечала: «Я же была девушкой шестидесятих годов».

И все же надо было действительно обладать незаурядным характером и мужеством, чтобы выдержать ту борьбу за свой предстоящий брак, какую выдержала Анна Григорьевна. Особенно активно и даже яростно выступили против пасынок Достоевского Паша Исаев и вдова брата писателя Эмилия Федоровна со своими детьми. Они опасались, что женитьба писателя может положить конец их материальному благополучию. Анна Григорьевна решила, что нужно как можно скорее обвенчаться. Однако их свадьба откладывалась — и только из-за отсутствия денег.

Вся надежда была на редакцию «Русского вестника» и на редактора-издателя этого журнала Михаила Никифоровича Каткова. Достоевский поехал в Москву просить у него аванс в счет будущего своего романа «Идиот», который также предполагался для публикации в «Русском вестнике». Достоевский знал, конечно, что «Преступление и наказание», которое весь 1866 год печаталось в «Русском вестнике», произвело колоссальное впечатление на современников. Так, его старый друг поэт Аполлон Николаевич Майков, прочтя лишь первую часть романа, сказал: «Это нечто удивительное!»<sup>85</sup>, а молодой судебный деятель Анатолий Федорович Кони испытал «чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью»<sup>86</sup>.

Катков согласился выдать аванс для свадьбы в две ты-

сячи рублей. Вероятно, его просто обезоружила откровенность Федора Михайловича. Он прямо сказал, что новый роман у него не только еще не готов, не только еще не начат, но даже вообще еще не до конца продуман и не ясен ему самому. Но деньги ему нужны для свадьбы, он задумал жениться, и счастье его зависит теперь только от него, Михаила Никифоровича.

Два письма из Москвы жениха к своей невесте дышат беспредельной верой в нее и в их будущее счастье: «Поздравляю с Новым годом и с *новым счастьем*. Помолись об нашем деле, ангел мой... Буду работать изо всех сил... *Твой* весь, твой верный, вернейший и неизменный. А в тебя верю и уповаю как во все мое будущее. Знаешь, вдали от счастья больше ценишь его... Бесценный и *вечный* друг Аня... Наша судьба решилась, деньги есть, и мы обвенчаемся как можно скорее... Как я тебя люблю — как я бесконечно тебя люблю и тем счастлив... С этакой-то женой да быть несчастлив — да разве это возможно! Люби меня, Аня; бесконечно буду любить».

Достоевский считал свой брак с Анной Григорьевной воскресением в новую жизнь, и есть глубокий смысл в том, что венчание в Троицко-Измайловском соборе он назначил именно 15 февраля 1867 года. Дату 15 февраля он запомнил на всю жизнь: 15 февраля 1854 года он навсегда покинул Омский каторжный острог. «Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая славная минута!» Анна Григорьевна — это новая жизнь, это воскресение в новую жизнь, это «будущее все — и надежда, и вера, и счастье, и блаженство».

Анна Григорьевна дала Федору Михайловичу первым ступить на ковер перед священником во время венчания, ибо по русскому народному поверию считалось, что тот, кто это сделает первым, будет главенствовать в семье. Да и как она могла ему не покориться, если он стал ее богом, единственным смыслом ее существования.

Однако счастье молодоженов было недолгим. Родственники Федора Михайловича, с утра до вечера находившиеся в их квартире, делали все, чтобы омрачить их радость. С горечью Анна Григорьевна видела, что редкая душевная близость, которая возникла у нее с Достоевским, когда он диктовал ей роман «Игрок», постепенно исчезала. А все потому, что бесконечные родственники практически ни на минуту не оставляли молодоженов одних. И тогда Анна Григорьевна почувствовала: настал момент, когда ее брак с Достоевским, в котором с ее стороны было прежде всего и главным образом преклонение перед великим писателем,

а с его — следование своему пророческому голосу, что именно эта девушка принесет ему счастье, — этот брак может при благоприятных условиях перейти в большую и страстную любовь, а при неблагоприятных — кончиться разрывом.

Катастрофы, разрыва все же не произошло, главным образом благодаря решительности и энергии Анны Григорьевны, тем более удивительных, что она тогда, по собственному ее позднему признанию, была совершенным ребенком. Она сделала все от нее зависящее, чтобы переменить обстановку — уехать за границу, подальше от домашних неурядиц, от надоевших и опостылевших родственников, от всех кредиторов и вымогателей (писателю постоянно грозила долговая тюрьма).

Однако проект совместной поездки за границу был встречен в штыки петербургскими родственниками. Они потребовали, если поездка все же состоится, оставить им деньги на несколько месяцев вперед. Если учесть также требования кредиторов по журналу «Эпоха», то при такой раскладке получалось, что ни о какой поездке за границу и думать было нечего, ибо от последнего аванса «Русского вестника» у них не только ничего не осталось, но даже еще четырехсот рублей не хватало на нужды родственников и на претензии кредиторов.

Анна Григорьевна была в полном отчаянии, но ее отчаяние продолжалось недолго. Неожиданно для родственников, друзей и знакомых она продемонстрировала такую силу характера, что поразила и всех окружающих, и своего мужа прежде всего. Он никак не мог себе представить, что его Аня способна на такой шаг.

Анна Григорьевна интуитивно почувствовала, что речь идет не просто о спасении их брака, — речь идет о спасении его творческого гения. А ради этого она готова была всем пожертвовать. Анна Григорьевна решает заложить все свое приданое (мебель, серебро, вещи), и на эти деньги 14 апреля 1867 года молодожены уезжают за границу.



**СКИТАНИЯ  
ПО ЕВРОПЕ**



«...Я поехал, но уезжал я тогда со смертью в душе: в за-  
границу я не верил, то есть я верил, что нравственное влия-  
ние заграницы будет очень дурное,— рассказывает Достоев-  
ский о своих мрачных предчувствиях А. Н. Майкову.—  
Один... с юным созданием, которое с наивною радостью  
стремилось разделить со мною странническую жизнь; но  
ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного  
и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень...  
Характер мой больной, и я предвидел, что она со мной из-  
мучается. (НВ. Правда, Анна Григорьевна оказалась силь-  
нее и глубже, чем я ее знал...)»

В 1883 году Анна Григорьевна составила краткий хро-  
нологический отчет о скитаниях с мужем по Европе с  
1867 по 1871 год: 19 апреля (1 мая) 1867 года — приезд  
через Берлин в Дрезден; 22 июня (4 июля) 1867 года —  
в Баден-Баден; 13 (25) августа — через Базель в Женеву,  
где супругов часто посещает Н. П. Огарев; в конце мая  
1868 года — переезд из Женевы в Веве; в начале сентября  
1868 года — из Веве в Милан; через два месяца — во Фло-  
ренцию; в августе 1869 года через Венецию, Триест, Вену  
и Прагу (Достоевский мечтает познакомиться в Праге с из-  
вестными деятелями славянского движения Ф. Палацким  
и Ф. Л. Ригером, но не находит квартиры) снова возвра-  
щаются в Дрезден; наконец, 5 (17) июля 1871 года Досто-  
евские выезжают из Дрездена через Берлин в Россию<sup>87</sup>

Но за этой сухой хронологией стоят драматические собы-  
тия. Скитание молодоженов по Европе началось с Дрезде-  
на. Но медовый месяц Достоевского неожиданно оканчи-  
вается катастрофой: писателя вновь, как когда-то с Аполли-  
нарией Сусловой, затягивает безжалостная и бездушная  
рулетка. Достоевский пытается бороться с этим наваждени-  
ем и не решается признаться молодой жене. Наконец он не  
выдерживает и начинает убеждать Анну Григорьевну, что  
это единственный способ поправить их довольно тяжелое  
материальное положение и рассчитаться с долгами брата  
Анна Григорьевна согласилась, чтобы он отправился играть  
в Гомбург.

Еще когда он диктовал ей «Игрока», она поняла, конечно, что это автобиографическое произведение, но Анна Григорьевна даже и представить себе не могла, что власть рулетки над ним так всемогуща.

Изначальный мотив влечения Достоевского к игре — бедность. Действительно, он бедствовал почти всю свою жизнь, и трудно, пожалуй, во всей его четырехтомной переписке найти такие письма, где бы не шла речь о деньгах: то он собирался просить займы, то он хочет вернуть долг, то строит бесконечные проекты, чаще всего совершенно нереальные, как лучше разбогатеть. Таким образом, перед самим собой Достоевский всегда мог бы оправдаться: если бы деньги не были нужны «до зарезу», он бы не стал играть.

И эта навязчивая идея — выиграть «капитал», чтобы расплатиться с кредиторами, прожить, не нуждаясь, несколько лет, обеспечить детей в случае своей ранней смерти, а самое главное — получить, наконец, возможность спокойно поработать над своими произведениями (как Тургенев и Толстой, часто повторял он), а не на срок, под угрозой тюрьмы или описи имущества, — так овладела Достоевским, что он начал играть, чтобы выиграть.

Однако в одном из писем к Анне Григорьевне (рулетка была в Гомбурге, а Анна Григорьевна оставалась в Дрездене) Достоевский неожиданно делает важное признание: «Нервы расстроены, и я устаю (сидя-то на месте), но тем не менее я в хорошем *очень даже* состоянии. Состояние возбужденное, тревожное, — но моя натура иногда этого просит».

Это очень важное признание: игра становится самоцелью, нужда в деньгах оказывается предлогом и отодвигается на второй план. Страсть к рулетке ради самой рулетки, игра ради ее сладостной муки объясняется характером, «натурой» писателя, склонного часто заглядывать в головокружительную бездну и бросать вызов судьбе.

Игра была для Достоевского своего рода противовесом его трагической жизни: ему пятый десяток, из них десять лет он был выброшен из жизни — каторга и ссылка, он стоял на эшафоте, ожидая смерти; неудачным оказался первый брак, детей своих нет, кругом в долгах, эпилептик. Но самое главное даже не в этом. Он полон гениальных творческих замыслов, но пока сумел только один из них воплотить — «Преступление и наказание» (а когда начинал играть, еще и этого романа не было). Сумеет ли он воплотить остальные свои грандиозные замыслы?

Анна Григорьевна быстро почувствовала, что игра для

Достоевского была не только средством бегства от обыденной жизни, но, что самое важное, средством вдохновения: после большого проигрыша Достоевский принимался за творческую работу и набрасывал страницу за страницей своих великих романов. И разгадав в свои двадцать лет эту «тайну» рулеточной лихорадки своего мужа-писателя, зная, что из-за игорной страсти Достоевского ее семья обречена на постоянную нищету и даже дочь не на что крестить, она не только не перечит, не только не запрещает ему играть, а, наоборот, видя, что у него застопорилась работа над «Идиотом», сама предлагает ему поехать играть. И Анна Григорьевна угадала точно: вернувшись, Достоевский написал почти 100 страниц романа.

Анна Григорьевна закладывает буквально все, вплоть до своей последней рубашки, и не ропщет, когда он закладывает даже обручальное кольцо и серьги, и все это для того, чтобы отправиться в Гомбург. (И это тоже было ново для него, ибо Аполлинария считала его страсть к игре или средством разбогатеть, или просто его слабостью.)

Ради его творчества она не жалела ничего, была готова на любые жертвы, на любой подвиг, ибо знала:

Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта вострепенеет,  
Как пробудившийся орел.

И тогда неукротимая тяга Достоевского к творчеству преодолет все соблазны рулетки.

Так и случилось. Как Сонечка Мармеладова в конце концов «победила» своим смирением и кротостью Раскольникова, так и Анна Григорьевна своим непотворением сумела оторвать навсегда Достоевского от его страсти. В последний раз он играл в 1871 году, перед возвращением в Россию, в Висбадене. 28 апреля 1871 года Достоевский пишет Анне Григорьевне из Висбадена в Дрезден: «Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, *мучившая* меня почти 10 лет. Десять лет (или, лучше, с смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами) я все мечтал выиграть... Теперь же все кончено! Это был *вполне* последний раз... Теперь, когда я так обновлен,— пойдем вместе, и я сделаю, что будешь счастлива!»

Клятву свою Достоевский сдержал: он действительно навсегда оставил игру (хотя впоследствии четыре раза ездил один для лечения за границу) и действительно сделал Анну Григорьевну счастливой. Достоевский прекрасно понимал, что своим освобождением от власти рулетки он обязан

прежде всего Анне Григорьевне, ее великодушному терпению, всепрощению, мужеству и благородству. «Всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз тебя, ангела моего, благословлять,— писал Достоевский Анне Григорьевне.— Нет, уж теперь твой, твой нераздельно, весь твой. А до сих пор *наполовину* этой проклятой фантазии принадлежал».

Но Анна Григорьевна не случайно почувствовала, что игра стимулирует литературную работу писателя. Достоевский сам тесно связывал свои творческие импульсы с «проклятой фантазией». В письме из Вап-Сахон, извещая жену об очередном проигрыше, Достоевский благодарит это несчастье, так как оно невольно натолкнуло его на одну «превосходную мысль»: новое произведение.

Так родился роман «Идиот». Потрясения игры и ужас нищеты не мешали полнокровной духовной работе писателя, мучительному созданию «Идиота». В январе 1868 года Достоевский пишет своей племяннице С. А. Ивановой: «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение *положительно* прекрасного,— всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо... Но я слишком далеко зашел. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон-Кихот».

Достоевский сознает, что изображение «положительно прекрасного человека» — задача гигантская. Искусство может только приблизиться к этой задаче, но не разрешить ее, так как прекрасный человек — святой, а святой был лишь один Христос. Вот почему в черновиках главный герой романа «Идиот» князь Лев Николаевич Мышкин назван «князь-Христос». Но разве возможен роман о Христе?

Достоевский пытается найти предшественников князя Мышкина в мировой литературе: вспоминает Жана Вальжана Виктора Гюго, Пикквика Ч. Диккенса и особенно Дон Кихота Сервантеса. Пушкинские строки «жил на свете рыцарь бедный» пройдут через весь роман «Идиот», и рыцарь без страха и упрека князь Лев Николаевич Мышкин станет русским Дон Кихотом.

Второй большой роман Достоевского «Идиот» — органически вырос из первого — «Преступление и наказание»



Раскольников потерял веру и хотел «переступить» нравственный закон. Но если в «Преступлении и наказании» лишь один герой потерял веру (Свидригайлов и Лужин — это двойники Раскольникова, неизбежное следствие его преступной теории), то в «Идиоте» страшное, тлетворное влияние наступающего капитализма охватило всех действующих лиц. Лишь один «положительно прекрасный человек» князь Мышкин противостоит «темным силам» и гибнет в борьбе с ними.

Не случайно Достоевский за границей ежедневно прочитывал все русские газеты (и по возможности иностранные), с большим волнением и тревогой следил за всем, что происходит в России. Он был потрясен количеством участвовавших преступлений, грабежей и убийств, всеобщим падением нравственности. Так, например, в ноябре 1867 года Достоевский прочел в газетах судебное дело об убийстве купцом Мазуриным ювелира Калмыкова. Богатый московский купец Мазурин дал первый толчок образу Рогожина в «Идиоте», а некоторые детали преступления Мазурина почти дословно перешли в роман. Характерно, что об убийстве Мазурина прочла в газетах героиня «Идиота» Настасья Филипповна в тот самый день, когда в ее жизнь вошел купец Рогожин. Писатель указывает даже точную дату: среда, 27 ноября 1867 года. Но за жуткой уголовной хроникой Достоевский сумел увидеть тот процесс разрушения, который неизбежно приведет к концу старого мира.

В этот чудовищный мир денег, где все покупается и продается, вдруг приходит странный человек — князь Лев Николаевич Мышкин, жаждущий отдать свою душу за ближнего, бескорыстный, смиренный, сострадательный и чистый сердцем. Все, что он говорит и делает, совсем не похоже на то, что говорят и делают все остальные действующие лица. Все помешаны на деньгах, а князь появляется в Петербурге без гроша в кармане, с одним лишь маленьким узелком. Вот он неожиданно получает наследство, но сразу же раздает деньги. Все лгут в этом мире, а Мышкин никогда не лжет. Аглая говорит ему: «Хоть вы и в самом деле большым умом (вы, конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точкой говорю), но зато главный ум у вас лучше, чем у них всех, такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума: главный и не главный».

Лев Николаевич Мышкин — правда, попавшая в мир лжи; столкновение и трагическая борьба их неизбежны и предрешены. Это столкновение и эту борьбу Достоевский считал прежде всего и главным образом религиозным столкновением и религиозной борьбой. В словах генеральши

Епанчиной «В бога не веруют, в Христа не веруют!» выражена заветная идея писателя: нравственный кризис, переживаемый современным ему человечеством, — религиозный кризис.

Вот почему князь Мышкин все различные мотивы преступления Рогожина сводит к одной, религиозной причине. Анна Григорьевна Достоевская вспоминает, что в августе 1867 года они специально остановились на сутки в Базеле, чтобы писатель смог посмотреть в местном музее картину немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос»: «Эта картина изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого с креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжело было впечатление... и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать — двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный»<sup>88</sup>.

Анна Григорьевна указывает, что впечатления от картины «Мертвый Христос» отразились в романе «Идиот» и что Достоевский сказал ей: «От такой картины вера может пропасть»<sup>89</sup>.

Эти слова почти дословно произносит в романе князь Мышкин. У Рогожина в доме висит копия картины Гольбейна «Мертвый Христос», и он говорит князю, что любит на нее смотреть. «На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину, да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» «Пропадает и то», — подтверждает неожиданно Рогожин, произнеся пророческие слова. Рогожин потерял веру, и безверие ведет его к убийству.

Но писатель выразил в романе «Идиот» не только свои впечатления от картины Гольбейна «Мертвый Христос». Лев Николаевич — это отчасти художественный автопортрет самого Достоевского, в какой-то мере духовная и даже физическая биография писателя. Физическая — Достоевский награждает своего любимого героя собственной болезнью — эпилепсией. Духовная биография — совпадение некоторых важных жизненных точек отсчета Мышкина и его создателя: мечтательная юность, четыре года вне жизни (кааторга и санаторий в Швейцарии), «перерождение убеждений», встреча с Христом, возвращение обоих в Петербург, черты Аполлинарии Сусловой в образе Настасьи Филиппов-

ны и Анны Григорьевны Достоевской в образе Аглаи, потрясающий рассказ князя о главном событии в жизни писателя — смертной казни на эшафоте.

И как Анна Григорьевна одна сумела понять Достоевского, так и Аглая одна отгадывает тайну Льва Николаевича. Она сравнивает князя с пушкинским «рыцарем бедным», то есть с Дон Кихотом, который поверил в свой идеал и слепо отдал ему свою жизнь. Мышкин смотрит на мир, лежащий во зле, а видит лишь «образ чистой красоты». Он не понимает, что мир во зле лежит, потому что сам к этому злу не причастен. Он хочет спасти мир верой в красоту, не понимая, что сама красота нуждается в спасении.

Образ «положительно-прекрасного человека» в романе «Идиот» остался недо воплощенным, и, может быть, поэтому Достоевский остался не удовлетворен своим произведением. В октябре 1868 года, во время работы над «Идиотом», писатель делает поразительное признание в письме к своей племяннице С. А. Ивановой: «Через два месяца кончается год, а из четырех частей мною писанного романа окончено всего три, а четвертая, самая большая, еще и не начата. Наконец (и главное) для меня в том, что эта четвертая часть и окончание ее — самое главное в моем романе, т. е. для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман».

Но развязка «Идиота», финал романа — это смерть Настасьи Филипповны. Тогда в чем же смысл финала и почему развязка — «самое главное в романе». Ответ на эти вопросы связан с трагическим событием в жизни самого Достоевского и его личным горем.

Изматывающая игра на рулетке содействовала процессу «срастания» Достоевского и Анны Григорьевны, и в письмах последующих лет писатель будет повторять, что чувствует себя «приклеенным» к семье и не может переносить даже короткой разлуки. Однако окончательное «срастание» произошло после страшного горя: в мае 1868 года в Женеве, после простуды, скончался в трехмесячном возрасте первый ребенок Достоевских — дочь Соня.

Появление на свет первого ребенка открыло писателю сферу чувств и мыслей, до тех пор ему неведомых. Он испытывал самую большую радость в жизни. Его мечта исполнилась — он стал отцом. С первого дня всем своим сердцем, всей своей душой Достоевский полюбил ребенка. Он не боялся быть смешным в своей трогательной привязанности: целыми днями занимался своей дочерью, сам пеленал ее, уверял, что она уже его узнает, что у нее есть свой собственный характер. Но счастье Достоевских длилось недолго..

Смерть дочери привела в отчаяние отца. «Соня моя умерла, три дня тому назад похоронили, — изливает свое горе Достоевский в письме к А. Н. Майкову. — ...А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтобы она была жива!»

Достоевский безутешен. Человеческая душа дороже всей вселенной, никакая «мировая гармония» не может вознаграждать за потерю одной, пусть даже самой маленькой личности, никакой «земной рай» не успокоит сердце отца, у которого умер младенец. Достоевский ведет процесс с богом о страданиях человека, о его назначении и судьбе, ничего не желая уступать богу в этой судьбе, ни одной слезинки ребенка, и, кажется, не было в истории такого пламенного адвоката человека, каким был Достоевский. Из личного горя писателя вырастает бунт Ивана Карамазова («мировая гармония» не стоит даже одной «слезинки ребенка»). Достоевский увидел лицо своей трехмесячной дочери — единственное, неповторимое и вечное. И ее смерть поставила перед Достоевским-отцом с потрясающей силой вопрос о воскресении дочери, а перед Достоевским-писателем с такой же силой — о воскресении души Настасьи Филипповны. Грандиозный финал романа «Идиот» писался уже после смерти Сони, и гибель Настасьи Филипповны — это смерть лишь ее тела: чем разительнее распад ее праха, тем сильнее победа ее бессмертного духа (по аналогии с картиной Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос», висящей в доме Рогожина

14 сентября 1869 года в Дрездене у Достоевского и Анны Григорьевны родилась вторая дочь — Любовь. «С появлением ребенка на свет счастье снова засияло в нашей семье, — свидетельствует А. Г. Достоевская, — Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Н. Н. Страхову: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть»<sup>90</sup>.

Но бессмысленная смерть Сони продолжает волновать Достоевского. И хотя сюжет следующего крупного романа писателя «Бесы», начатого за границей, тесно связан с конкретным фактом — убийством «нечаевцами» под Москвой 21 ноября 1869 года слушателя Петровской земледельческой академии, члена тайного общества «Народная расправа» И. Иванова, можно предположить, что известие о смерти И. Иванова приводило Достоевского к одной и той же мысли: неизбежны ли жертвы в историческом процессе?

По свидетельству А. Г. Достоевской, писатель, читая газеты и общаясь с ее братом, тоже студентом Петровской земледельческой академии, Иваном Григорьевичем Сниткиным, пришел к выводу, что в этом учебном заведении «в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения»<sup>91</sup>.

Убийство было совершено организатором «Народной расправы» С. Г. Нечаевым при участии членов ее — П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева. Иванов решил не подчиняться больше Нечаеву, почувствовав, очевидно, его звериное нутро и намекая даже на то, что он «отделится от общества и образует новое общество под своим главенством». Он был убит в парке Петровской академии, а тело бросили в прорубь пруда.

Гнусное и подлое убийство Иванова поразило Достоевского как сбывшееся предсказание им политических волнений в Петровской земледельческой академии. «Нечаевское дело» вдохновило Достоевского на писание «романа-памфлета» «Бесы». 24 марта (5 апреля) 1870 года он писал Н. Н. Страхову: «На вещь, которую теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность, но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце, пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь».

Однако постепенно, в процессе творческой работы, роман-памфлет с главным героем Петром Верховенским — Нечаевым вырастает в большой трагический роман с другим главным героем, подлинно трагической личностью — Николаем Ставрогиным. «...Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей, — писал Достоевский 8 октября 1870 года М. Н. Каткову, — но мне кажется, что это лицо трагическое, хотя многие, наверное, скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его».

Достоевский действительно «из сердца взял его». Ставрогин как бы завершает многолетние размышления писателя над демонической, «сильной личностью».

«Главному бесу» Николаю Ставрогину в романе должен был противостоять монах Тихон. В том же письме к Каткову Достоевский сообщал: «Но не все будут мрачные лица: будут и светлые... В первый раз хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом

такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и svoju на время героев романа. Боюсь очень: никогда не пробовал; но в этом мире я кое-что знаю».

Однако «положительно-прекрасному» человеку — монаху Тихону не суждено было войти в роман, и столкновение между атеистом Ставрогиным и верующим Тихоном не получилось. Катков не пропустил. Снова, как и в «Преступлении и наказании», когда Соня и Раскольников, «убийца и блудница», читают Евангелие, Катков испугался за нравственность читателей.

Катков не понял, что выброшенная глава «У Тихона» — замечательное художественное создание писателя, не почувствовал, что борьба веры с неверием и достигает в этой главе предельного напряжения, не уловил, что в этой главе Ставрогин терпит окончательное и сокрушительное поражение.

Исключение главы «У Тихона» из окончательного текста романа «Бесы» привело к тому, что его смысл стал заключать в себе «доказательство от противного». Все, что устраивают «бесы» в маленьком губернском городке, и является убийственным приговором их делу.

Вот почему из зловещего демона, каким первоначально мыслился Петр Верховенский — Нечаев, Достоевский сделал в конечном итоге суетливого «мелкого беса». Петр Верховенский характеризуется не столько психологически, сколько идеологически: он — философ анархизма, апологет такого страшного явления в истории русского революционного движения, как нечаевщина. Ложь, мистификация, провокация, предательство, убийство, совершенные во имя великой цели — революции, — вот что такое нечаевщина, названная так по имени революционера-заговорщика, главы тайного террористического общества «Народная расправа», организатора политического убийства Сергея Геннадиевича Нечаева. Вероятно, Достоевскому были известны составленные Нечаевым анархистские «Общие правила организации», так как действия Петра Верховенского — фанатическое следование нечаевским «правилам»\*.

---

\* К. Маркс и Ф. Энгельс резко осудили нечаевщину и все теоретические программные документы С. Г. Нечаева как «прекрасный образчик казарменного коммунизма», как «апологию политического убийства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 18. — М., 1961. — С. 412, 414). Современные историки указывают, что если сравнить роман «Бесы» с его историческими прототипами, то по степени гротескности нечаевщина и вся связанная с ней полоса подпольной борьбы намного превзойдет свое литературное изображение

Но в центре романа «Бесы» стоит не Петр Верховенский — он слишком мелок для этого, он лишь исполнитель, с претензией на верховодство. В центре — главный бес, Ставрогин. В черновой тетради к роману есть запись: «Князь (Ставрогин) — всё». И фактически все произведение посвящено разгадке тайны Ставрогина, так как душевная смута главного героя, его духовное противоречие захватывает сначала нескольких его учеников, затем целые кружки и, наконец, весь город, и распад его личности символизирует для Достоевского духовный кризис, переживаемый Россией.

И Петр Верховенский, и Шатов, и Кириллов, и Шигалев, и все остальные мелкие бесы романа — духовные дети Ставрогина, который может совмещать в себе и проповедовать самые противоположные начала: и веру в бога, и безверие. Недаром Шатов говорит Ставрогину: «В то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка Кириллова ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления»

Роман «Бесы» — грозное пророчество писателя о надвигающихся на мир катастрофах, это — роман-предупреждение, это — призыв к бдительности людей. Достоевский был единственным человеком, кто из нечаевского дела сделал вывод: на мир надвигаются Нечаев и ему подобные бесы, которые будут шагать по трупам для достижения своих целей, для которых всегда цель оправдывает средства и которые даже не замечают, как постепенно средства становятся самоцелью<sup>92</sup>.

Но роман «Бесы» — не безысходная трагедия. У Достоевского всегда «свет во тьме светит и тьма не объяла его» Используя евангельскую притчу об исцелении Христом бесноватшегося человека, Достоевский верит, что Россия и мир в конечном итоге излечатся от таких бесов, как Нечаев Однако появление Нечаева писатель связывает прежде всего и главным образом с безверием. Вот почему он мечтает в романе «Бесы» идейную связь между нечаевцами и петрашевцами и, переживая появление Нечаева в России и как свою личную трагедию, считает себя — бывшего петрашевца — тоже ответственным за распространение атеизма. В «Бесах» нашли также отражение два биографических факта из жизни Достоевского за границей: окончательный разрыв с И. С. Тургеневым в Баден-Бадене в 1867 году и посещение Достоевским в Женеве в том же году первого конгресса Лиги мира и свободы.

В письме к А. Н. Майкову писатель подробно рассказал о крупной ссоре в Баден-Бадене с И. С. Тургеневым 28 июня (10 июля) 1867 года, приведшей, по существу, к окончательному разрыву их отношений, хотя подготавливался этот разрыв уже давно, еще с 1840-х годов: «Я пошел к нему утром, в 12 часов, и застал его за завтраком...— Откровенно Вам скажу: я и прежде не любил этого человека лично... Не люблю также его аристократических фари-сейских объятий, с которыми он лезет целоваться, но подставляет сам свою щеку. Генеральство ужасное».

Но это не личная антипатия, а столкновение на почве глубоких идейных разногласий, столкновение двух людей, исповедующих резко различающиеся взгляды и убеждения. Тургенев — убежденный западник, сторонник введения парламентских форм правления в России. Достоевский, всегда тяготевший к славянофильству, веровавший в особый христианский путь России,— убежденный противник европейской буржуазной цивилизации. Достоевский обвиняет Тургенева в атеизме, нелюбви к России и преклонении перед Западом, и после выхода романа Тургенева «Дым» эти обвинения приобрели актуальную остроту.

«Его книга «Дым» меня раздражила,— писал Достоевский А. Н. Майкову.— Он сам говорил, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России... Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно...»

Для Достоевского любовь к России была чем-то болезненно острым. «Может быть, вам покажется неприятною та злорадность, с которою я вам описываю Тургенева и то, как мы друг друга оскорбили,— заканчивалось письмо к Майкову.— Но, ей богу, я не в силах: он слишком оскорбил меня своими убеждениями».

«Оскорбление» Тургеневым в Достоевском почвенника, верующего человека совпало с выступлениями «крайнего» западника Потугина, отождествленными Достоевским с авторской позицией, и послужило последним толчком для создания в романе «Бесы» образа «великого писателя» Кармазинова — злой карикатуры на Тургенева.

Но понимал ли Достоевский, что Тургенев ругает Россию сквозь слезы своей любви к ней? Конечно, понимал, иначе бы и не упомянул тургеневскую Лизу в Пушкинской речи. Но для романа «Бесы» это не имело значения. Писатель в Кармазинове заклеил в лице Тургенева ненавистный ему образ либерала-западника, которого он считал



виновником появления в России Нечаева, Каракозова и им подобных (недаром такое созвучие в фамилиях — Каракозов и Кармазинов). Это убеждение еще больше окрепло в романисте, когда 29 августа (10 сентября) 1867 года он вместе с Анной Григорьевной посещает в Женеве заседание первого конгресса Лиги мира и свободы. Писатель был поражен тем, что с трибуны перед многотысячной аудиторией открыто провозглашают истребление христианской веры, уничтожение больших монархий, частной собственности, объявляют, чтобы «все было общее, по приказу». «А главное,— пишет Достоевский С. А. Ивановой,— огонь и меч, и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

Страшный теоретик разрушения в «Бесах» «длинноухий» Шигалев полностью наследует женевские впечатления Достоевского от первого конгресса Лиги мира и свободы, а Ставрогин и Петр Верховенский распределяют поровну впечатления Достоевского от общения тогда же в Женеве с главным вождем анархизма М. А. Бакуниным, который не только был вице-президентом конгресса, но и произнес на конгрессе чрезвычайно эффектную речь с требованием уничтожить русскую империю и вообще все централизованные государства.

...Предчувствие не обмануло Анну Григорьевну, когда она заложила свое приданое, чтобы спасти писательский дар Достоевского. Кроме «Идиота» и «Бесов» он пишет за границей повесть «Вечный муж», статью «О Белинском» и задумывает целый ряд романов, в том числе грандиозный роман под названием «Житие великого грешника», и все это в условиях полного безденежья. «Как могу я писать,— спрашивает Достоевский А. Н. Майкова 16 (28) октября 1869 года в письме из Дрездена,— когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она кормит ребенка, что же, если она последнюю свою теплую, шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах!), ведь она простудиться может! ...И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии, без напряжения, без угару, и указывают на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрят, в каком положении я работаю!»

Ни с Марией Дмитриевной, ни с Аполлинарией Достоевский никогда не испытывал такого духовного и творческого подъема, как с Анной Григорьевной. Он любит слушать симфонии Бетховена, благоговейно смотреть в Дрезденской галерее на «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, его таинствен-

но притягивает в этой же галерее пейзаж французского художника Клода Лоррена (1600—1682) «Асис и Галатея»: фантастический ландшафт, озаренный лучами заходящего солнца, мистически связывается в его творческом воображении с мечтой о «золотом веке», и впоследствии Ставругин в «Бесах» («Исповедь Ставругина»), Версилов в «Подростке» (рассказ о первых днях европейского человечества) и «смешной человек» («Сон смешного человека» в «Дневнике писателя» за 1877 год) будут говорить об этом ландшафте как о символе земного рая.

Достоевский как в России, так и за границей работал обычно ночью, вставал в одиннадцать часов утра и в два часа встречался с женой в картинных галереях или в музеях того европейского города, где они в тот момент жили, потом гуляли в парке и слушали музыку, в девять часов вечера возвращались домой, пили чай, и Достоевский садился за работу, а Анна Григорьевна, прежде чем лечь спать, записывала непонятными для мужа стенографическими значками свои впечатления о прошедшем дне, а зачастую стенографировала и переписывала новые тексты мужа.

Предчувствие не обмануло Анну Григорьевну, когда она уезжала, а точнее, даже бежала с мужем в Европу. За четыре заграничных года раскрылись лучшие стороны их характера и взаимная привязанность превратилась в сильное и крепкое чувство, растущее все время, так как они надолго оказались только вдвоем.

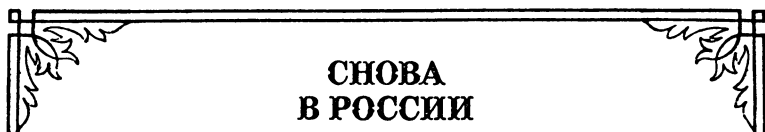
Но было еще одно очень важное обстоятельство, сроднившее их во время затянувшегося вынужденного пребывания в Европе,— это жгучая тоска по России. И Анна Григорьевна, и Достоевский одинаково страстно мечтали о родине. Оба поняли, что русский человек, а тем более русский писатель не может быть вне России. «Без родины страдание, ей-богу! — писал Достоевский Майкову из Женевы.— ..А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна». Они давно собирались вернуться, но мешали самые разные причины: то рождение детей, то полное безденежье, то рулетка, то боязнь кредиторов в России. Но когда Достоевский начал говорить о «гибели своего таланта» вдали от родины, то Анна Григорьевна, для которой не было ничего дороже его художнического дара, решила, что надо немедленно возвращаться в Петербург. И как когда-то она сделала все, что было в ее силах, для спасения его писательского дара, решив бежать за границу, так и сейчас она сделала все, чтобы вернуться в Россию.

Получив за границей анонимное письмо, где сообщалось, что его подозревают в сношениях с революционерами

и будут тщательно обыскивать при возвращении в Россию, Достоевский сжег в июне 1871 года, перед отъездом из Дрездена на родину, рукописи «Вечного мужа», «Идиота» и «ту часть романа «Бесы», которая представляла собою оригинальный вариант этого тенденциозного произведения».<sup>93</sup> Анне Григорьевне удалось отстоять и, таким образом, спасти от уничтожения записные книжки к этим трем произведениям, которые она дала своей матери (она ехала после них) для тайного провоза в Россию.

Анна Григорьевна и Федор Михайлович собирались провести в Европе три месяца, а вернулись через четыре с лишним года

## Глава десятая



### СНОВА В РОССИИ



8 июля 1871 года Достоевские возвратились в Петербург. Они поселяются снова в тех же местах, где обрели личное счастье. Через восемь дней после приезда у них родился сын Федор.

Однако в материальном отношении жизнь в России оказалась нелегкой. Анна Григорьевна очень надеялась уплатить часть самых неотложных долгов брата Федора Михайловича, продав дом, предназначенный ей матерью в приданое. Но оказалось, что пока она жила за границей, какие-то жуликоватые и темные личности, пользуясь отсутствием домовладелицы, продали этот дом с аукциона. Мебель и вещи, оставленные на хранение друзьям и знакомым, тоже пропали за эти четыре года,— значит, Анна Григорьевна и Федор Михайлович вынуждены были ютиться в меблированных комнатах, так как приобретение собственной мебели было им пока не по карману.

Многочисленные кредиторы, узнав о возвращении писателя, налетели буквально со всех сторон, как волчья стая. Положение было действительно отчаянное: как и четыре года назад, Достоевскому снова грозила долговая тюрьма — «Тарасов дом». Впереди не ожидалось никаких источников дохода, кроме остатка гонорара за публикацию в «Русском вестнике» романа «Бесы».

Именно в этот трагический момент Анна Григорьевна

показала ту решительность и волю, которые, очевидно, всегда были в ее характере, но проявлялись только в самые важные минуты жизни. А это и были как раз такие минуты, так как она знала, что спасение Достоевского не только от «Тарасова дома», но и даже просто от самого общения с кредиторами,— это спасение его творческого гения.

Анна Григорьевна самоотверженно стояла на страже литературного труда Достоевского и, совершенно отстранив его от всяких переговоров и встреч с кредиторами, взяла на себя все финансовые дела. И к каким только ухищрениям не прибегала Анна Григорьевна, чтобы вовремя заплатить те или иные долги Михаила Михайловича Достоевского, да еще сделать это так, чтобы, не дай бог, об этом узнал Федор Михайлович!

«В моем представлении,— вспоминал знаменитый композитор И. Стравинский, семья которого в 70-е годы дружила с семьей писателя,— Достоевский олицетворял собой художника, неизменно нуждающегося в деньгах. Так говорила о нем моя мать...»<sup>94</sup>. Отчаянная нужда заставила Достоевского искать устойчивый заработок. В конце 1872 года писатель предлагает князю В. П. Мещерскому редактировать его журнал-газету «Гражданин». После ухода прежнего редактора, известного публициста Г. К. Градовского, положение этого периодического издания стало критическим. «И в эту трудную минуту, когда мы говорили об этом вопросе, никогда не забуду,— пишет князь В. П. Мещерский,— с каким добродушным и в то же время вдохновенным лицом Ф. М. Достоевский обратился ко мне и говорит мне: «Хотите, я пойду в редакторы?» В первый миг мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Достоевский решился на это из сочувствия к цели издания. Но этого мало, решимость Достоевского имела свою духовную красоту. Достоевский был, невзирая на то, что он был Достоевский,— беден; он знал, что мои личные и издательские средства ограничены, и поэтому сказал мне, что он желает для себя только самого нужного гонорара, как средства к жизни, сам назначил 3.000 р. в год и почасовую плату...»<sup>95</sup>.

Однако В. П. Мещерский все же преувеличивает, когда указывает, что Достоевский «решился» стать редактором «Гражданина» «из сочувствия к цели издания», то есть одобряя направление этого крайне консервативного органа. Конечно, и в своем отрицании революционного пути преобразования России Достоевский во многом сходил с князем Мещерским, но все же консерватизм писателя отличался от взглядов владельца «Гражданина».

И Достоевский быстро понял, что совершил ошибку, согласившись стать редактором «Гражданина». Дело не только в физической «кабале», хотя Достоевскому приходилось отдавать журналу-газете все свое время, да к тому же еще править бездарные писания самого князя Мещерского, претендовавшего на роль идейного руководителя своего детища. Не смутил Достоевского даже арест за незнание им редакторских обязанностей, когда он напечатал статью Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге», в которой приводились слова Александра II, обращенные к депутатам. Достоевский не знал, что такое цитирование допускается лишь с разрешения министра императорского двора. 11 июня 1873 года петербургский окружной суд приговорил писателя к 25 рублям штрафа и двум суткам ареста.

Сам по себе этот не очень приятный факт имел, однако, и положительные последствия. Достоевский познакомился с председателем окружного суда Анатолием Федоровичем Кони, позже приобретшим широкую известность в связи с делом Веры Засулич по обвинению ее в покушении на убийство петербургского градоначальника генерала Трепова. Между Достоевским и Кони возникли прочные дружеские отношения. Кони помог отнести арест писателя на более удобное для него время — вторую половину марта 1874 года.

Судя по воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, околоточный явился за ее мужем 21 марта 1874 года. Местом заключения назначили гауптвахту на Сенной площади, на той самой площади, где целовал землю Раскольников.

Краткосрочный арест Достоевского дал ему возможность получить передышку, оторваться от хлопот и забот чуждого его писательскому духу редактирования «Гражданина». Соседом по камере оказался какой-то ремесленник. Он все двое суток спал напролет, а Достоевский тем временем жадно перечитывал роман Виктора Гюго «Отверженные». Гауптвахта позволила ему, как он говорил, «возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения». Достоевский уже был весь во власти своего нового романа «Подросток», и ему важно было перечитать «Отверженные»: оба романа посвящены одной теме — воспитанию человека.

Но работа в «Гражданине» совершенно изматывала Достоевского и не давала никакой возможности начать роман «Подросток». 26 февраля 1873 года писатель откровенно признается в письме к историку М. П. Погодину: «...роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю, каждый день при-

бавляю новые черты к записанному плану и тут же вижу, что все время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше, и прихожу в раскаянье и отчаянье... Решительно думается мне иногда, что я сделал большое сумасбродство, взявшись за «Гражданина». Работавшая корректором в типографии Траншеля, где печатался «Гражданин», Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская) дает портрет Достоевского того времени: «Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широкими и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью»<sup>96-а</sup>.

Одухотворенность поражала всех, кто видел впервые Достоевского. Молодой критик Всеволод Соловьев (брат философа Владимира Соловьева) встретил писателя первый раз в 1873 году: «Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих 52 лет, с небольшой русой бороδοю, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни»<sup>96</sup>.

Работа в «Гражданине» угнетает Достоевского, к тому же отношения с князем Мещерским обостряются. «Сегодня утром, — пишет Достоевский жене 20 июля 1873 года, — разом получил от князя телеграмму и два письма насчет помещения его статьи. Письмо его мне показалось крайне грубым. Сегодня же отвечу ему так резко, что оставит вперед охоту читать наставления».

Последним толчком к окончательному отказу Достоевского от редакторства послужил резкий спор между ним и издателем в ноябре 1873 года. Мещерский хочет напечатать в «Гражданине» свою статью, в которой он рекомендует царскому правительству организовать студенческие общежития для надзора за студентами. В письме к издателю Достоевский выражает свой решительный протест: «Семь строк о надзоре или, как вы выражаетесь, о *труде* надзора правительства, я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора и сверх того дети. Губить себя я не намерен. Кроме того, ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце».

Консерватизм Достоевского всегда имел ту нравственную черту, за которую он никогда не переходил, в отличие от того же князя Мещерского или, например, будущего обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, с которым писатель познакомился во время редактирования «Гражданина». Так, например, Достоевский расценивал сам акт освобождения крестьян как «великий» и «пророческий момент русской жизни», а для Победоносцева и Мещерского «эпоха реформ», начавшаяся с отмены крепостного права, несла в себе разложение русских государственных и общественных устоев.

С начала 1874 года Достоевский не помещает в «Гражданине» ни одной строчки под своим именем, а 19 марта 1874 года отказывается от должности редактора ввиду болезни.

Однако, соглашаясь стать редактором «Гражданина», Достоевский думал не только о постоянном заработке. Он давно мечтал о новой форме общения с читателем, о живой и непосредственной форме философско-литературной публицистики. Так возник в «Гражданине» особый отдел под названием «Дневник писателя» — явление уникальное в русской и мировой литературе. В первом номере «Гражданина» за 1873 год Достоевский заявляет: «...Я буду говорить сам с собой... в форме этого дневника... Об чем говорить? Обо всем, что паразит меня или заставит задуматься».

Пожалуй, не было животрепещущих и насущных вопросов и проблем, не нашедших то или иное отражение в «Дневнике писателя», который с 1876 года Достоевский начал выпускать в виде отдельного ежемесячного издания.

Но «Дневник писателя» — это не только публицистика. В нем есть и несколько небольших художественных произведений, поразительных по глубине и по форме изложения. Вот маленький фантастический рассказ «Бобок», герой которого гуляет по кладбищу и вдруг слышит разговор мертвецов. Ужас охватывает, когда читаешь про эти «беседы» покойников, но только дойдя до конца рассказа, понимаешь, что хотел сказать Достоевский: бездуховный мир заживо разлагается, и самое страшное не тление тел, а гниение душ.

В повести «Кроткая» Достоевский, за полвека до появления произведений символистов и экспрессионистов, предпринял смелую попытку воспроизвести поток сознания, то есть поток мыслей и образов в их непосредственном ассоциативном движении.

«Сон смешного человека», как и «Кроткая», носит под-

заголовок «фантастический рассказ». Но если в «Кроткой» фантастической явилась для своего времени форма повести, то в «Сне смешного человека» фантастично его содержание. Это утопическая мечта, «золотой век», «самая невероятная» мечта петрашевца Достоевского о земном рае, о братстве людей, о «мировой гармонии».

Тема детских страданий, всю жизнь волновавшая Достоевского, нашла отражение в рассказе «Мальчик у Христа на елке». Он написан в последние годы жизни, когда убеждения писателя приняли религиозную окраску. Поиски правды, обличение несправедливого устройства мира, мечта о «счастье человечества» сочетаются в Достоевском с неверием в переустройство мира по «логике» и «разуму». Думая, что ни в каком устройстве общества не избегнуть зла, что душа человеческая всегда останется та же, что зло исходит из нее самой (мысль, положенная в основу ранней повести «Двойник»), Достоевский отвергает революционный путь преобразования общества и, ставя вопрос лишь о нравственном самосовершенствовании каждого человека, устремляет свои взоры к богу.

Однако и здесь Достоевский спорит с богом о страданиях человека и не хочет уступать ему ни одной слезинки ребенка. При чтении его произведений невольно вспоминается старое изречение: «Из всех храмов человеческих наивысший — это сердце человека».

Писатель сознательно строит рассказ по принципу контраста: великолепная елка в комнате за окном — и маленький оборвыш, под самое рождество замерзающий на улице. В предсмертном видении бедному, несчастному мальчику представляется, что его приводит к себе на райский праздник Христос, защитник обездоленных, униженных и оскорбленных. Ведь «нет сказок лучше тех, которые рассказывает сама жизнь», — сказал великий датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен, и нет ничего фантастичнее действительности, говорил Достоевский.

Видение рождественской елки для замученных детей — первый набросок видения Алеши Карамазова в романе «Братья Карамазовы». В этом произведении уже найден тот взволнованно-умиленный тон, который пронзает нас в «Братьях Карамазовых».

«А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забжавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла прежде его...»

По интонации «Мальчик у Христа на елке» напоминает рассказы Диккенса, одного из любимейших писателей Достоевского. Однако финал совсем не похож на благополуч-



ные концовки английского классика. И даже радостное появление Христа не смягчает трагического финала рассказа «Мальчик у Христа на елке»: это потрясающий приговор миру, в котором страдают и гибнут дети. Страдания детей для Достоевского — один из главных признаков несправедливо устроенного мира.

Почти все произведения Достоевского кончаются трагически, но нигде у писателя нет безысходного трагизма. Нет его и в рассказе «Мальчик у Христа на елке». Ведь если в этом несправедливом мире страдают даже невинные дети, то, значит, надо не только изменять жизнь, но и преодолевать ее. Но единственное, чем можно преодолеть жизнь, учит Достоевский, — это любить ее, как любят дети, которые у писателя обычно получают назначение произвольных проводников чистоты и искренности. Но любить жизнь — это значит до конца раздавать ее, то есть всегда и везде делать людям добро и только добро! «Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую!»

Весной 1872 года Достоевский продолжал работать над романом «Бесы». Но работа над ним в Петербурге, в атмосфере материальных лишений и борьбы с кредиторами, шла очень плохо. Жизнь в столице была довольно дорога. Особенно дорого обходились петербургские квартиры. Чтобы как-то сэкономить, писатель решил (по совету профессора М. И. Владиславлева — мужа племянницы Достоевского Марии Михайловны) снять в мае 1872 года дачу в Старой Руссе, небольшом городке под Новгородом.

Старая Русса благоприятно подействовала на здоровье и творческую активность Достоевского. «Наша повседневная жизнь в Старой Руссе была вся распределена по часам, — вспоминает Анна Григорьевна, — и это строго соблюдалось. Работая по ночам, муж вставал не ранее одиннадцати часов. Выходя пить кофе, он звал детей, и те с радостью бежали к нему и рассказывали все происшествия, случившиеся в то утро, и про все, виденное ими на прогулке. А Федор Михайлович, глядя на них, радовался и подерживал с ними самый оживленный разговор...

После полудня Федор Михайлович звал меня в кабинет, чтобы продиктовать то, что он успел написать в течение ночи. Работа с Федором Михайловичем была для меня всегда наслаждением, и про себя я очень гордилась, что помогаю ему и что я первая из читателей слышу его произведение из уст автора»<sup>97</sup>.

Достоевский диктовал жене по составленному ночью подробному конспекту текст романа. Составленная стенограмма расшифровывалась и переписывалась, затем про-

смастривалась писателем, исправлялась и переписывалась еще раз.

Затем Достоевский читал или писал письма и в любую погоду выходил гулять. В пять часов садился обедать вместе с детьми, а потом Анна Григорьевна и Федор Михайлович отправлялись вдвоем на вечернюю прогулку, неизменно заходя на обратном пути в почтовое отделение, чтобы получить обширную корреспонденцию. В девять часов детей укладывали спать, а в одиннадцать часов вечера, когда уходила к себе и жена, Достоевский приступал к работе. Он работал до трех-четырёх часов ночи.

Старорусский исправник, полковник Готский, осуществляющий секретный надзор за бывшим каторжником, доносил своему начальству, что Достоевский «жизнь вел трезвую, избегал общества людей, даже старался ходить по менее многолюдным улицам, каждую ночь работал в своем кабинете за письменным столом, продолжал таковую до 4-х часов утра...»<sup>98</sup>.

Можно определенно утверждать, что семейный уют и счастливый брак, радость иметь своих детей и любящую супругу послужили первым толчком к созданию Достоевским романа «Подросток». Наблюдая жизнь своих детей — в духовно прочном и устойчивом браке их родителей, — Достоевский мог задумать роман о «случайном семействе» «Подросток».

Но главным толчком к созданию «Подростка» послужила сама пореформенная Россия. Множество фактов из окружающей жизни воспринимались Достоевским как зловещие признаки жуткой болезни, охватившей все слои общества, после того как «все в России переверотилось».

Вместе с социально-экономической основой старого феодально-крепостнического строя стали разрушаться и все нравственные устои. Рушилось старое патриархальное «благообразие», капитализм принес распад, «беспорядок» (в черновых записях роман «Подросток» назван «Беспорядком»), и в первую очередь распад вековых семейных устоев. «Разложение — главная видимая мысль романа», — формулировал Достоевский свою задачу в одной из ранних записей к «Подростку».

История юноши-подростка Аркадия Долгорукого — это «история его первых шагов на жизненном поприще», это «поэма о том, как вступил подросток в свет. Это история его исканий, надежд, разочарований, порчи, возрождения, науки — история самого милого, самого симпатичного существа». Аркадий — сын помещика Версилова и жены садовника Макара Долгорукого Софьи Долгорукой, незакон-

ный, «случайный сын» «случайного семейства». От унижений и страданий незаконнорожденности подросток спасается в свою «идею», обособляется.

В неопытной голове Аркадия зародилась идея, взятая из того самого капиталистического мира, который он презирал. Идея подростка состояла в том, чтобы стать Ротшильдом, чтобы с помощью денег добиться свободы и независимости и из гонимого, презираемого и третируемого сделаться «властелином и господином». В этой мечте чувствуется и непомерная гордость уязвленного самолюбия, и желание отомстить за зло, причиненное ему людьми: за обманутую доверчивость, насмешки, жестокое детство.

Но в подростковом возрасте, в отличие от людей «ротшильдовского» типа, не было цельности. Он был слишком чист и совестлив, его искания правды, обуревающие его противоречивые чувства при столкновении с людьми то и дело отвлекали от выполнения намеченной цели. В своем искании истины подросток переходит из одного «круга» в другой, как бы проверяя и «разгадывая» каждую из встреченных им на жизненном пути «правд»: от надежды на бескорыстные дружбы — к постоянной «загадке» — Версилу, от веры в спасительность женской любви — к народной правде «странника» Макара Долгорукого, от идеи стать Ротшильдом — к народническим спорам об исторической роли России.

Эти споры в романе происходят в кружке Дергачева. В июле 1874 года в Петербурге проходил процесс по делу революционера-народника Долгушина и его кружка. Долгушинцы призывали к уничтожению императорской фамилии. Известно, что они стремились создать «религию братства» и основывали свой коммунизм на евангельском идеале. Достоевский воспользовался подробностями процесса для изображения в романе «Подросток» кружка Дергачева. В окончательном тексте романа кружку Дергачева — Долгушина посвящена лишь одна небольшая сценка. Но даже если сравнить эту сцену — заседание кружка Дергачева — с характеристикой революционеров в предыдущем романе Достоевского «Бесы», бросается в глаза изменение взгляда писателя на социальное движение в России.

Самой большой загадкой на пути исканий Аркадия является фигура его отца, человека разочарованного, страдающего, гордого, одинокого, «вечного скитальца», тоскующего по религиозному идеалу и в то же время неверующего. И вот подросток берется за разгадку личности своего отца.

Тайна личности Версилова в его роковой раздвоенности. Он болен всеми недугами современной ему капиталистической цивилизации. Все зыблется, колеблется и двойится в

его сознании: идеи — двусмысленны, истина — относительна, вера — неверие. Трагическая раздвоенность Версилова определяет в свою очередь участь двойной семьи. Кризис общения человечества, вступающего в антигуманную капиталистическую эпоху, показан Достоевским в органической ячейке, из которой вырастает общество, в семье: раздвоение в душе Версилова отражается прежде всего на его семье.

Горький опыт падения и страстей не проходит даром для подростка. Разгадывая тайну личности Версилова, Аркадий разгадывает и тайну собственной личности. Из подростка Аркадий становится взрослым и осознает трагическое раздвоение своей природы, символами которого являются Версиров (благородная мечта об отце, а отсюда и тяга к общению с ним и людьми) и Тушар (лакейство и трусость, «идея стать Ротшильдом» и, как следствие этой идеи, — обособление от отца и людей). Двойственность, противоречивость души — последняя правда об отце и сыне. И только поняв эту правду, то есть разгадав тайну своей личности и тайну Версилова, Аркадий «вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого».

«Подросток» завершается верой в новую жизнь, в новый идеал красоты. По мысли Достоевского, этой верой Аркадий был обязан прежде всего Макару Ивановичу — верующему страннику из народа. В образе Макара Долгорукого находит свое воплощение религиозный мотив романа. «Макар — выражение того духовного «благообразия», которое утрачено высшим сословием и по которому так томится подросток. Но Достоевский вкладывает в образ Макара и свои представления о народном идеале святости. Писатель подчеркивает, что этот идеал чужд византийской строгости и монашеского аскетизма.

Возвращение Версилова к Софье Андреевне в конце романа и признание им страннической правды Макара Ивановича, считал Достоевский, означают торжество народного начала над индивидуальным, ненародным, означают возврат «европейского цивилизатора» Версилова к русскому народу. Писатель видел выход из «беспорядка», из «разложения» современной ему России в слиянии идеалов высшего культурного слоя в лице Версилова и народной правды в лице Макара Ивановича, в примирении дворянского и народного начал.

«Подросток» — книга о юноше, о юности, окрашенная в грустно-элегические тона, единственный из пяти великих романов, в котором нет трагического конца. Может быть, это объясняется тем, что во время работы над ним Достоевский неожиданно вновь пережил минуты своей юности.

«Подросток» печатался в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова, который сам в апреле 1874 года пришел домой к Достоевскому с предложением купить его новый роман. Достоевский согласился. После пятнадцатилетней жестокой журнальной полемики и идейной вражды дружба юности снова сближаются. Это было скорее не идейное сближение, а память сердца. Достоевский всю жизнь помнил, что именно Некрасов приветствовал его литературное рождение. Однако разрыв с «Гражданином» и сближение с Некрасовым свидетельствовали все же о каком-то, пусть незначительном, внутреннем сдвиге в Достоевском или, во всяком случае, как показало его новое произведение, о некоторой корректировке его взглядов на революционную молодежь 70-х годов.

Тридцать лет назад Некрасов провел бессонную ночь над первым романом Достоевского «Бедные люди». Через тридцать лет ситуация повторяется: Некрасов всю ночь читает «Подростка». 9 февраля 1875 года Достоевский пишет жене: «...Некрасов пришел, чтобы выразить свой восторг по прочтению конца первой части. «Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе... И какая, батюшка, у вас свежесть!.. Такой свежести в наши лета уже не бывает, и нет ни у одного писателя».

В 1877 году Достоевский неоднократно навещает умирающего Некрасова. В «Дневнике писателя» воспоминания Достоевского о последней беседе так же значительны, как и сокровенное описание их первой встречи в петербургскую белую ночь 1845 года: «И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит о тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам было тогда по двадцати с немногим лет...»

Узнав о смерти Некрасова, Достоевский пошел поклониться его телу, а вернувшись домой, перечел почти все его поэтическое наследие: «В эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет занимал места в моей жизни!»

30 декабря 1877 года Достоевский произносит замечательную речь на могиле Некрасова, воздавая должное великому поэту, который навсегда останется в сердце народа, ибо «в любви к народу он находил нечто незыблемое; какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило».

После публикации в 1875 году в «Отечественных записках» «Подрустка» Достоевский снова решил издавать с 1876 года «Дневник писателя». Важнейшим толчком к этому решению явился так называемый Восточный вопрос.

В 1875—1876 годах болгарское национально-освободительное движение приобретает самый широкий размах и вызывает беспрецедентную по жестокости расправу Турции с населением страны. Достоевский писал неоднократно об этом в «Дневнике писателя», призывая освободить болгар от турецкого рабства. Но его позиция в так называемом Восточном вопросе с самого начала перерастает рамки простого антитурецкого «бунта». Писатель считал, что решение восточного кризиса должно изменить духовный облик Европы. Он видел в движении сочувствия славянам глубочайший нравственный смысл.

Тема «Восточный вопрос и Достоевский» выдвигает два важных вопроса: как конкретно Достоевский своим «Дневником писателя» 1876—1877 годов содействовал росту рядов русских добровольцев, желающих принять участие в борьбе с турками за освобождение славян, и повлияли ли публицистические выступления писателя на принятие Александром II решения о вступлении России в войну с Турцией за освобождение Болгарии?

Со всех концов России Достоевский ежедневно получал десятки писем, поддерживающих его выступления в защиту болгар. Так, например, действительный статский советник П. В. Алабин писал из Самары: «...все честные люди Самары радуются Вашим статьям и хотят сами помочь благородному делу освобождения славянства...»<sup>99</sup>. Петр Владимирович Алабин, именно под влиянием «Дневника писателя», в скором времени, несмотря на свой пожилой возраст, примет участие в освобождении Болгарии и станет выдающимся деятелем славянского освободительного движения, первым губернатором Софии.

Можно привести десятки других примеров, когда статьи писателя вдохновили русских людей лично участвовать в освободительной войне болгарского народа. Его выступления 1876—1877 годов, особенно статьи по Восточному вопросу, пользовались колоссальной популярностью среди студенческой молодежи, а именно эта молодежь и составляла основной костяк русских добровольцев до официального вступления России в войну против Турции 12 апреля 1877 года.

Не подлежит никакому сомнению, что и Александр II читал статьи Достоевского за 1876—1877 годы, призывающие Россию военным путем освободить Болгарию от нена-

вистных турок. «Дневник писателя» был единственным изданием в своем роде не только в России, но и во всем мире, и Александр II не мог не читать его. И можно предположить, что страстные призывы писателя в защиту болгар могли также содействовать принятию Александром II решения о вступлении России в войну с Турцией за освобождение Болгарии.

События русско-турецкой войны 1877—1878 годов составили главное содержание большинства выпусков «Дневника писателя». Летом 1877 года русские войска перешли Дунай. Они несли балканским народам желанную свободу. В апрельском номере за 1877 год Достоевский отмечает «Подвиг самопожертвования кровью своею за все, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение».

В принципе Достоевский самым решительным образом осуждает войну. Он с негодованием пишет о войнах «из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков... Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают и даже совсем губят народы...»

Но войну за освобождение Болгарии Достоевский называл самой честной, самой гуманной и самой справедливой. И это не противоречие евангельской заповеди «не убий». Насилие Достоевский признает нравственным и необходимым, когда речь идет о том, чтобы разрушить порядок вещей, при котором совершается оно над человеческой личностью, ее свободой и достоинством. Только в этом случае человек, защищающий свою жизнь и свободу и жизнь ему подобных, имеет право и обязан поднять оружие.

Во второй половине 70-х годов Достоевский получает множество самых разных писем от знакомых и незнакомых людей, сходитя с целым рядом лиц, даже противоположных взглядов, выполняет различные просьбы. И всегда это зов души и разговор сердца. «Чтение Ваших произведений — это беседа с собственной совестью — до того они имеют общечеловеческий, всеобъемлющий смысл», — писал Достоевскому из Харькова 23 февраля 1877 года известный ученый-химик, друг его молодости Н. Н. Бекетов<sup>100</sup>

«Последнее время я близко сошлась с Достоевским, — писала И. Сурикову 16 февраля 1877 года бывшая сподвижница Джузеппе Гарибальди Александра Николаевна Пешкова-Толиверова (1842—1918), — я люблю его искрен

ность, я люблю его как психолога... Во многом я с ним не согласна... но я люблю его сильно»<sup>101</sup>.

В сентябре 1876 года Достоевский получил письмо от офицера А. С. Надеждина: «...я знаком с Вами только понаслышке и по Вашим романам, которые заставляют предполагать в Вас человека с душой, способного сочувствовать горю ближнего... почему я и пишу Вам относительно одной девицы. Она не имеет никого родных, кроме очень бедной матери... Вообразите себе положение девушки без средств, без знакомых в таком омуте, как Петербург! Надо быть человеком без сердца, чтобы не пожалеть ее... Если Вы таков, каким я себе представляю Вас, то Вы примете участие в ней и не откажете в своем содействии, если можете, или хорошим совете относительно приискания занятий вечерних (урока) или переводов...»<sup>102</sup>.

Достоевский выполняет просьбу офицера А. С. Надеждина, так же как выполняет десятки других.

В октябре 1876 года в Петербургском окружном суде слушалось дело мачехи Екатерины Корниловой, выбросившей из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу. Ребенок чудом остался жив и невредим. Достоевский писал об этом в октябрьском номере «Дневника писателя» за 1876 год в главе «Простое, но мудреное дело».

Суд приговорил Е. Корнилову к двум годам и восьми месяцам каторжных работ, а затем на вечное поселение в Сибирь. Однако Достоевского интересует психологический подтекст этого преступления, он пытается понять причины этого «простого, но мудреного дела». Прочтя в газетах отчет о суде над Корниловой, писатель пришел к выводу, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и выступил в защиту осужденной.

Чиновник К. Маслянников служил в том ведомстве, от которого зависела просьба о помиловании. Прочтя статью «Простое, но мудреное дело», К. Маслянников решил представить дополнительные аргументы для оправдания Корниловой и написал письмо Достоевскому с просьбой о встрече. «Через несколько дней я отдал ему визит,— вспоминал К. Маслянников через год после смерти писателя,— и тут только мы с ним впервые познакомились. Он принял меня так трогательно радушно, как бы родного или старинного приятеля. Он повел меня в свой маленький, сильно заваленный книгами кабинет, выходивший окнами на Греческий проспект, где он говорил мне очень много, несмотря на чрезвычайное утомление от болезни, заставлявшее часто прерывать речь для того, чтобы «перевести дух»<sup>103</sup>.

Это была эмфизема легких, быстро прогрессирующая бо-



лезнь, приобретенная писателем на каторге и ускорившая его смерть. Но Достоевский пытается бороться со своей болезнью. Четыре раза — в 1874, 1875, 1876 и 1879 годах Достоевский лечился на немецком курорте Бад Эмс. Однако болезнь продолжала прогрессировать. К тому же нездоровье усугублялось одним странным происшествием.

Достоевский шел к себе домой в Кузнечный переулок, как вдруг какой-то пьяница ударил его сзади по голове. Удар был настолько сильным, что писатель упал и больно ушибся. Подоспевший городской забрал в участок пьяного и попросил прийти туда же и Достоевского. После составления протокола дело было передано мировому судье А. И. Трофимову.

На суде Достоевский отказался от обвинения и даже просил судью совершенно освободить от наказания своего обидчика. Писатель мотивировал свою просьбу тем, что обидчик действовал без заранее обдуманного намерения, а лишь под влиянием опьянения.

А. И. Трофимов в точности выполнил желание писателя, а прощаясь с Достоевским, сказал: «Я очень счастлив, что хотя по должности мирового судьи имел удовольствие беседовать с самым выдающимся корифеем русской литературы»<sup>104</sup>.

Эпилептические припадки с годами меньше беспокоили Достоевского, а главное, он знал, что во время них Анна Григорьевна всегда придет к нему на помощь, и за все четырнадцать лет брака он ни разу, благодаря ее заботам, не поранился.

Девять с половиной лет, которые Достоевский прожил с Анной Григорьевной и со своими детьми после приезда из Европы в 1871 году, были самыми счастливыми в его жизни — такими же счастливыми, как далекое детство, когда была жива его мать. Может быть, поэтому, вспоминая в эти годы свое детство и видя радостные лица собственных детей, Достоевский, как свидетельствуют современники, особенно мучился, когда узнавал о страданиях чужих детей.

Такое отношение к страданиям детей роднило Достоевского и Анну Григорьевну, и эта солидарность позволила им, пользуясь высоким именем писателя, спасти не одну детскую душу. Так, в самом начале 1877 года Анна Григорьевна, откликнувшись на просьбу своей знакомой А. П. Бергеман, просит Достоевского спасти одну девочку от истязаний садиста и пьяницы отца. В письме к писателю от 20 января 1877 года А. П. Бергеман благодарит его за спасение девочки: «Спешу, многоуважаемый Федор

Михайлович, поделиться с Вами своею радостью, и как виновнику ее, принести мою искреннюю благодарность. При помощи истинно доброго человека, Анатолия Федоровича Кони, Марфуша принята в Елизаветинскую детскую больницу и оживает не по дням, а по часам. Во время пребывания ее в больнице Анатолий Федорович обещал мне вытребовать от отца ее метрическое свидетельство, а по выздоровлении — поместить в приют, относительно чего ему уже дано обещание.

Насколько я могла подметить, ребенок этот с добрым, откликающимся на ласку сердцем, что меня крайне радует, и я почти уверена, что раз вырванная из той ужасной обстановки и поставленная в лучшие условия, она со временем сделается хорошим человеком и с благодарностью отнесется к участникам, изменившим ее судьбу, а имена их я постараюсь ей запечатлеть навсегда. Еще раз примите мою сердечную признательность...»<sup>105</sup>.

Все четырнадцать лет счастливого брака на одном дыхании, без единой неискренней или фальшивой ноты. И Достоевский так привязался к своей семье, что абсолютно не мог без детей и жены обходиться. «Обабился я дома за эти 8 лет ужасно,— пишет он Анне Григорьевне из Эмса в 1875 году,— не могу с Вами расстаться даже и на малый срок — вот до чего дошло...»

Летом 1877 года Достоевские проводят в имении брата Анны Григорьевны «Малый Прикол», в десяти верстах от города Мирополье Курской губернии. В конце июня Достоевский уезжает из Курской губернии в Петербург для выпуска летнего номера «Дневника писателя». Зная, что Федор Михайлович уже давно хотел побывать в селе своих родителей Даровое в 150 верстах от Москвы, где последний раз был в далеком детстве, Анна Григорьевна уговорила его на обратном пути из Петербурга в Мирополье остановиться в Москве, а затем заехать в Даровое.

Но перед поездкой в Даровое Достоевский проводит в Петербурге три «ужасных» дня. Он не получает писем от жены (забыл под влиянием приступа эпилепсии, что договорился с Анной Григорьевной о посылке ему писем через дворника их петербургского дома) и в ожидании их посылает Анне Григорьевне отчаянные письма: «Аня, последние три дня я провел здесь ужасно. Особенно ночи. Не спится. Думаю, перебираю шансы, хожу по комнате, мерещатся дети, думаю о тебе, сердце бьется (у меня в эти три дня началось сердцебиение, чего никогда не было).— Наконец начнет рассветать, а я рыдаю, хожу по комнате и плачу, с каким-то сотрясением (сам не понимаю, никогда этого не

бывало)... Проклятая поездка в Даровую! Как бы я желал не ехать! Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чем писать писателю! Но довольно, обо всем переговорим... Целуй детей бессечно. Вчера Федино рождение, какой грустный день я вынес Господи, да выносил ли когда что мучительнее...»

Анна Григорьевна снова угадывает потребности творческого гения мужа. Достоевский посещает бывшее отцовское имение Даровое, гуляет в роще Черемошни и погружается в воспоминания детства. Этот издавна знакомый пейзаж впоследствии войдет в роман «Братья Карамазовы».

Благодаря заботам Анны Григорьевны Достоевский преодолел свою последнюю вершину.

## Глава одиннадцатая



Время создания Достоевским романа «Братья Карамазовы» совпало с организованной вооруженной борьбой против существующей власти.

Выстрел Веры Засулич 24 января 1878 года в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, по приказу которого был высечен заключенный революционер Боголюбов, послужил началом долгого и жестокого противоборства между народолюбцами и правительством:

Достоевского живо интересует все, что связано с деятельностью людей, вступивших в террористическую борьбу с самодержавием, точнее, его интересует прежде всего и главным образом нравственная основа их поступков, и с этой точки зрения он и решает проблему «преступления и наказания».

31 марта 1878 года писатель присутствует на процессе Веры Засулич. Он говорит о ее выстреле: «...Наказание тут неуместно и бесцельно... Напротив, присяжные должны бы сказать подсудимой: «у тебя грех на душе, ты хотела убить человека, но ты уже искупила его,— иди и не поступай так в другой раз...»<sup>106</sup>. 5 февраля 1880 года Степан Халтурин организовал взрыв в Зимнем дворце, но царь остался жив. Писатель и журналист А. Суворин подробно записывает, как он 20 февраля 1880 года посетил Достоевского.

«Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал: «А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад». И он продолжал набивать папиросы...

Разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошо, как к ним относиться.

— Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину...» Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городскому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить»<sup>107</sup>.

20 февраля 1880 года народоволец И. О. Млодецкий совершил покушение на начальника Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия М. Т. Лорис-Меликова. 22 февраля Млодецкий был казнен. Достоевский присутствовал на этой казни.

29 февраля 1880 года писательница С. И. Смирнова записывает в своем дневнике: «...Пришел Достоевский. Говорит, что на казни Млодецкого народ глумился и кричал... Большой эффект произвело то, что Мл [одецкий] поцеловал крест. Со всех сторон стали гов [орить]: „Поцеловал! Крест поцеловал“...»<sup>108</sup>.

24 февраля 1880 года вдова президента Академии художеств графиня Анастасия Ивановна Толстая пишет своей дочери Е. Ф. Юнге: «Сейчас возвратились от Достоевского — я нашла его чем-то расстроенным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на зрителя) казнь преступника 20 февраля»<sup>109</sup>.

Присутствуя на казни Млодецкого, Достоевский мог вспомнить и собственную казнь тридцать лет назад. И хотя писатель уже давно осудил бунт собственной молодости и отвергал также методы народовольцев, которые, как и вообще любое насильственное переустройство мира, для него были совершенно неприемлемы, однако сама идея бунта продолжает волновать Достоевского, и его «бунтарские» размышления наследует Иван Карамазов в романе «Братья Карамазовы».

Но время создания последнего романа — это время сближения Достоевского с людьми совсем другого круга, чем народовольцы<sup>110</sup>.

В начале 1878 года к Достоевскому приходит воспитатель великих князей Д. С. Арсеньев и передает ему желание царя познакомиться с ним своих сыновей, на которых он мог бы оказать своими беседами благотворное нравственное влияние. Достоевский выполняет желание Александра II. Писатель прекрасно помнил, что такие же функции воспитателя исполнял при будущем императоре Александре II его любимый поэт В. А. Жуковский. Здесь не было даже и тени намека на раболепство. Дочь писателя вспоминала: «...Очень характерно, что Достоевский... не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как он привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной... Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией. Этот император видел в своей жизни так много холопских спин!..»<sup>111</sup>.

Однако попытки приблизить позднего Достоевского только лишь к правительственным кругам (или, наоборот, другая крайность — сблизить его с народовольцами) являются несостоятельными. Он всегда оставался сам по себе, с верой в собственное призвание, в свое искание истины. Конечно, представления писателя о желаемом русском государстве не выходят за пределы демократизированной концепции славянофилов о патриархальном православном царе, который, как добрый отец, правит страной в союзе с крестьянским народом и возвратившейся к народной почве интеллигенцией, в согласии с евангельским законом. Но в записной тетради Достоевского встречаются и такие слова: «Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше

буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети Что-то очень уж долго не верит»

Действительно, в числе знакомых последних лет жизни Достоевского были титулованные особы, но, выбирая друзей и знакомых, писатель всегда руководствовался только духовными интересами. И здесь, как и во всем, проявлялись широта и демократизм его натуры. Характерно в этом смысле поведение Достоевского в великосветском салоне графини Софьи Андреевны Толстой (1824—1892) — жены поэта Алексея Константиновича Толстого. «...Почитатели Достоевского, принадлежавшие к высшим кругам петербургского общества, — вспоминает дочь писателя, — просили Толстую познакомить их с отцом. Она всегда соглашалась, но это не всегда было легким делом. Достоевский не был светским человеком и совсем не старался казаться любезным людям, которые ему не нравились. Если он встречал людей доброжелательных, чистые и благородные души, он был настолько мил с ними, что они никогда не могли забыть его и даже через двадцать лет после его смерти повторяли слова, сказанные им Достоевским. Когда же перед отцом оказывался один из снобов, которыми были полны петербургские салоны, он упорно молчал. Напрасно старалась тогда графиня Толстая прервать его молчание, искусно задавая ему вопросы; отец отвечал рассеянно „да“, „нет“ и продолжал рассматривать сноба как удивительное и вредное насекомое. Подобной нетерпимостью отец нажил себе множество врагов, что его обычно мало беспокоило. Это высокомерие Достоевского находилось в поразительном противоречии с изысканной вежливостью, восхитительной любезностью, с которой отец отвечал на письма своих почитателей из провинции. Достоевский знал, что все его мысли, его советы принимались с благоговением этими сельскими врачами, учительницами народных школ и священниками из маленьких приходов, в то время как петербургские фаты интересовались им только потому, что он был в моде...»<sup>112</sup>

Дружба и встречи с С. А. Толстой — одна из самых светлых страниц в последние годы жизни Достоевского. Это была незаурядная женщина. Она знала 14 языков, находилась в дружеских отношениях со многими выдающимися людьми своего времени: Гончаровым, Тургеневым, Вл. Соловьевым и др. А. Г. Достоевская вспоминает, как Толстая выполнила заветное желание Достоевского — иметь хорошую репродукцию его любимого произведения — «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Подарок Толстой был бесконечно дорог Достоевскому, он «был тронут до глубины души ее сердечным вниманием, — пишет Анна Григорьевна, — и в тот

же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставляла его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. Понятна моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести перед ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений!»<sup>113</sup>

С. А. Толстая помогала Достоевскому быть в курсе всех европейских новостей в области литературы, искусства, философской мысли, содействуя тем самым идеологической насыщенности «Братьев Карамазовых».

Среди знакомых Достоевского, с кем он сближается в эпоху создания «Братьев Карамазовых», преобладали женщины. Они хорошо понимали его многострадальное сердце. «Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин,— пишет Анна Григорьевна,— и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович с сердечной доброю входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверившиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович»<sup>114</sup>.

О том, что светские знакомства Достоевского определялись не сословным, а духовным отбором, свидетельствуют также его отношения с Анной Павловной Философовой (1837—1912) — замечательной русской женщиной, известной общественной деятельницей, которую высоко ценили Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев. Жена крупного царского чиновника, главного военного прокурора, А. П. Философова была настроена весьма оппозиционно: в ее квартире хранилась нелегальная литература, по слухам, у нее после суда скрывалась Вера Засулич. «Я ненавижу настоящее наше правительство... это шайка разбойников, которые губят Россию», — писала А. П. Философова<sup>115</sup>.

С Достоевским А. П. Философова сблизилась в конце 70-х годов, очень высоко ценила его, считала своим «нравственным духовником». Достоевский в свою очередь относился к Анне Павловне с большим уважением, писал о ее «прекрасном умном сердце», и его крайне тревожили слухи о возможном аресте А. П. Философовой. Ее дочь вспоминает: «...Я очень любила, исполняя мамино поручение, что есть духу пробежать всю анфиладу комнат, с заворотом в

большую полутемную переднюю нашей казенной квартиры. Лечу я однажды таким образом, а было мне уже шестнадцать лет и гимназию я кончила, и налетаю в дверях на Федора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь, и вдруг поняла, что не надо. Стоит он передо мной бледный, пот со лба вытирает и тяжело так дышит, скоро по лестнице шел: «Мама дома? Ну, слава богу! Мне сейчас сказали, что вас обоих арестовали!»<sup>116</sup>.

Общение с мужем Анны Павловны, прокурором, способствовало соблюдению всех юридических тонкостей на процессе Дмитрия Карамазова, некоторые черты характера ее тестя Дмитрия Николаевича Философова припомнились писателю, когда он создавал образ Федора Павловича Карамазова<sup>117</sup>, а знакомство Достоевского в 1879 году с участником русско-турецкой войны генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым (1828—1896) снова обратило его мысль к дружбе всех славянских народов<sup>118</sup>. Рассказы очевидца генерала Черняева о зверствах турок послужили также еще одним аргументом в пользу бунта Ивана Карамазова против божественного миропорядка.

И все же, несмотря на множество великосветских знакомых, Достоевский чувствует бесконечное одиночество. В 1878 году писатель с горечью говорил своему молодому знакомому, критику Всеволоду Соловьеву: «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было...»<sup>119</sup>.

У него действительно нет друга, такого, каким был, например, старший брат Михаил или в молодости И. Н. Шидловский. Самый близкий ему человек — Анна Григорьевна. Но если, действительно, у Достоевского в эпоху создания «Братьев Карамазовых» нет кроме Анны Григорьевны ни одного близкого человека, то в это время в его духовную жизнь входят два замечательных русских философа — Владимир Сергеевич Соловьев и Николай Федорович Федоров — и знакомство с их идеями и непосредственное общение с одним из них нашли отражение в романе «Братья Карамазовы».

В последние десятилетия XIX века читателей библиотеки Румянцевского музея встречал поразительный старик-библиотекарь — слегка сгорбленный, в истертом, а часто и рваном сюртуке, ходивший зимой и летом в одном и том же пальтишке и неизменных галошах. В три часа дня музей закрывался, все уходило, а странный старик продолжал



работать. Наступало самое священное для него время — он оставался наедине с книгами. Правда, иногда он уставал снимать или ставить на место книги, особенно когда попадались увесистые фолианты. Тогда он просил это сделать своих сослуживцев, платя им особо из своего нищенского жалованья. Затем загадочный старик шел ночевать в свою жалкую каморку, которую он снимал буквально за гроши, и обедал чаем и хлебом или кусочками старого сыра и соленой рыбой. Затем он работал до четырех часов ночи при жестяной керосиновой лампе. Три часа старик спал, причем постелью служил ему голый сундучок, а в семь часов утра шел на службу в Румянцевский музей. Все деньги, какие у него оставались, раздавал неимущим. Те, кто знал его, говорили, что если бывают святые, они должны быть именно такими.

Удивительного старика звали Николай Федорович Федоров (1828—1903). В декабре 1877 года последователь Федорова народный учитель Н. П. Петерсон прислал Достоевскому изложение его учения. Достоевский отвечал Петерсону 24 марта 1878 года: «Мы здесь, т. е. я и Соловьев по крайней мере, верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно будет на Земле». Учение Федорова сводится к необычайному положению. Человечество живет в разъединении, и его духовные силы парализованы враждой и борьбой. Но все люди Земли, считал Федоров, должны объединиться для общего великого дела — воскрешения предков. Вернуть жизнь тем, кто дал ее нам, — это и есть самая высокая цель и самая высокая нравственная задача.

В фантастическом проекте Федорова Достоевский нашел подтверждение многим своим сокровенным мыслям: идеям единства и братства, надежде на преобразование мира любовью.

Вот почему среди черновых заметок к «Братьям Карамазовым» встречаются такие записи: «Воскресение предков», «Воскресение предков зависит от нас», в грядущее воскресение верит Алеша Карамазов, а сама вражда отцов и детей в «Братьях Карамазовых», являясь как бы доказательством от противного, подтверждала призыв Федорова к объединению сынов для воскресения отцов.

Хотя знакомство Достоевского с Владимиром Сергеевичем Соловьевым (1853—1900) состоялось в самом начале 1873 года, но близкое духовное общение их началось с конца 1877 года и продолжалось по осень 1878 года, когда Достоевский регулярно посещал религиозно-нравственные лекции, которые Вл. Соловьев с огромным успехом читал в Соляном городке в Петербурге (10 марта 1878 года на

одной из лекций единственный раз в жизни оказались вместе Л. Н. Толстой и Достоевский, однако, не зная друг друга, они так и не познакомились)

6 апреля 1880 года Достоевский присутствовал на защите Вл. Соловьевым докторской диссертации. Особенно поразила Достоевского близкая ему по своей сути мысль диссертанта о том, что «человечество.. *знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве*»

Духовное общение с Вл. Соловьевым отразилось в круге нравственных тем и образов «Братьев Карамазовых»

Достоевский, несомненно, оценил натуру Соловьева, его бескорыстие, беззаветную преданность высоким идеалам, однако излишняя отвлеченность его религиозного учения вызвала у бывшего каторжанина дружескую шутку. очевидец одной из встреч Вл. Соловьева и Достоевского в 1878 году, литератор Д. И. Стахеев вспоминает: «Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Федор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул свое кресло к креслу, на котором сидел Соловьев, и, положив ему на плечо руку, сказал:

— Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек...

— Благодарю вас, Федор Михайлович, за похвалу

— Погоди благодарить, погоди,— возразил Достоевский,— я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу

— Господи! За что же?..

— А вот за то, что ты еще недостаточно хорош: тогда-го, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин...»<sup>120</sup>

Это сочетание в лице Вл. Соловьева человека высоких нравственных качеств и теоретика-логика и объясняет, очевидно, слова Анны Григорьевны Достоевской о том, что писатель изобразил Вл. Соловьева и в образе Алеши, и в образе Ивана Карамазова.

Годы создания «Братьев Карамазовых» — это время многочисленных и блестящих выступлений Достоевского на литературных вечерах. Пожалуй, ни один русский писатель не выступал так часто, как выступал Достоевский последние годы жизни. А ведь он был болен, уже давно страдал быстро прогрессирующей эмфиземой легких, задыхался, часто кашлял, не мог высоко подниматься, не мог громко говорить. Некоторые врачи советовали ему вообще прекратить публичные выступления. А он выступал! И практически безотказно! Что это? Желание донести до молодежи

(а на таких вечерах присутствовала в основном молодежь) свои заветные идеи? Ведь профессиональные критики не понимали его произведений, а зачастую и просто глумились над ними, а молодежь — это уже будущее России, а что может быть для него дороже России?! Или это четкое предчувствие своего близкого конца и столь же четкое желание успеть «глаголом жечь сердца людей», сознавая свою пророческую миссию?! Или каждая такая встреча с молодежью, каждая такая возможность узнать, чем дышит новое поколение, возможность личного общения давала писателю больше, чем сто прочитанных книг, давала возможность проецировать это общение на создание образов братьев Карамазовых? Пожалуй, все вместе.

Может быть, именно поэтому все выступления Достоевского имели такой потрясающий успех.

Жена великого русского физиолога И. П. Павлова, Серафима Васильевна Павлова, долгое время связанная в молодости с народнической молодежью и увлеченная идеей служения своему народу, в 1879 году слушала выступление Достоевского на литературном вечере Петербургских педагогических курсов. «Вдруг я услышала громкий голос и, взглянув на эстраду, увидела «Пророка», — вспоминает Серафима Васильевна. — Лицо Достоевского совершенно преобразилось, глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой.. Музыка, пение на этом вечере были только прелюдией пророческой речи Достоевского. Все время твердила я: «Да, он зажег сердца людей на служение правде и истине!»<sup>121</sup>

Это выступление так поразило Серафиму Васильевну, что она решила поехать к Достоевскому, чтобы посоветоваться с ним о самом сокровенном. Через много-много лет, вспоминая свои «поучительные разговоры» с Достоевским, она написала: «Как понимал он душу человеческую и проник в темные, бессознательные глубины!»<sup>122</sup>.

А между тем мало кто знал, что публичные выступления давались Достоевскому совсем не легко: каждый раз он не только страшно волновался, но еще и считал (наивность и простота гения!), что он плохо выступает: и это несмотря на грандиозный успех! В 1937 году старейшая актриса Александринского театра в Петербурге Антонина Михайловна Дюжикова (ей было в это время 84 года) рассказывала о встрече с Достоевским в фойе для артистов в Петербургском дворянском собрании: «...Концерт. В ожидании своего выхода актриса в сильном волнении ходит по комнате. В углу на диванчике пристроился какой-то худенький человек весьма невзрачного вида. Он нервно потирает руки

и внутренне как-то суетится. Наконец не выдерживает пытки ожидания, встает и подходит к Дюжиковой:

— Вы, по-видимому, сильно волнуетесь. Ну, и я тоже.

Антонина Михайловна вглядывается в нервно подергивающееся лицо — это Достоевский! Хочется чем-нибудь успокоить его:

— Да, я всегда волнуюсь перед выступлением. А вот вам, Федор Михайлович, пора бы, кажется, привыкнуть и перестать волноваться.

— Ах, нет, не говорите... Я всегда ужасно боюсь выступать перед публикой, да и читаю прескверно...

Голос у Достоевского дрожит, как у молодого, совсем неопытного актера...»<sup>123</sup>.

Простоту гения отмечают и другие мемуаристы, встречавшие в это время Достоевского. Восемнадцатилетний гимназист Анатолий Александров, ожидавший в июле 1878 года в Старой Руссе встречи с Достоевским «с большой робостью и волнением», пишет, что «при первом же взгляде на него, при первых же звуках его голоса от волнения моего и робости моей перед ним не осталось и следа. Через пять минут мне казалось уже, что мы с ним давнишние, добрые знакомые, даже люди близкие между собой, давно уже хорошо знаем и любим друг друга, и что нам ничего другого не остается, как быть друг с другом возможно проще, искреннее и откровеннее, побольше верить друг другу и побольше любить друг друга»<sup>124</sup>.

Однако писатель вынужден прервать отдых и работу в любимой Старой Руссе и снова ехать 20 июля 1879 года лечиться в Бад Эмс. Достоевский пишет из Эмса страстные письма Анне Григорьевне. Ему 58 лет, он уверен, что умрет через год или два; он болен неизлечимой болезнью, но он влюблен как юноша: «Здесь цветов ужасно много и продают их кучами. Но я не покупаю, некому подарить, царица моя не здесь. А кто моя царица? — Вы моя царица. Я так здесь решил, ибо, сидя здесь, влюбился в Вас так, что и не предполагаю».

Материальное положение его, исключительно благодаря Анне Григорьевне, значительно улучшилось. Она сумела его практически избавить от долгов брата, и он смог даже отдавать другие долги. Сын поэта А. Н. Плещеева, с которым Достоевский был связан в молодости принадлежностью к революционному кружку петрашевцев, вспоминает, что во второй половине 70-х годов Достоевский «принес отцу, в счет какого-то старого долга, 300 рублей, причем в приложенной к деньгам записочке писал, что «хвостик остается еще за ним». Помнится, что в тяжелые дни жизни, как го-

ворил мне отец, он посылал Федору Михайловичу какую-то сумму, которую тот, при изменившихся обстоятельствах, смог уплачивать ему»<sup>125</sup>.

Они смогли в октябре 1878 года переехать в более дорогую, просторную и благоустроенную квартиру в Петербурге, по Кузнечному переулку, дом № 5. Эта последняя квартира, где он написал «Братьев Карамазовых», как и обычно, помещалась в угловом доме. Но выбор ее не был случайным. Достоевский поселился в том же здании, где жил 32 года назад. В предчувствии близкого конца он снова вернулся в свою молодость, туда, где был когда-то так счастлив: совсем рядом находился Владимирский переулок, где он написал «Бедных людей». А в доме на Кузнечном он создал «Двойника», хотя тогда и не смог до конца реализовать богатейшую идею этой повести,— теперь он блестяще реализует ее в «Братьях Карамазовых» (Иван и черт).

Они смогли даже взять мальчика для работы в «Книжной торговле Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних)», открытой в начале 1880 года. Через много лет Петр Григорьевич Кузнецов (1866—1943), ставший известным ленинградским книгопродавцом, вспоминая о своей работе у Достоевских, рассказывал о скромности быта семьи писателя, о его простоте и доступности, о том, как Достоевский заботился о его читательских интересах, дав ему «Записки из Мертвого дома»: «Тебе, пожалуй, будет трудная, но прочти, что в книге написано, я сам испытал»<sup>126</sup>.

Известный революционер-народоволец И. И. Попов, учившийся в 1879 году в Петербургском учительском институте, оставил два портрета Достоевского с интервалом в полгода. «...В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский,— вспоминает И. И. Попов.— Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжело больного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испек кулич и поставил на мое пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя,— обратился Достоевский к малютке...

Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и «куличи» рассыпались. Достоевский продолжал кашлять... Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст... Злобы не питают, горя не знают... Слезы сменяются смехом...»<sup>127</sup>.

Через полгода новая встреча: «...Поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я снова встретил Ф. М. Достоевского вместе с Д. В. Григоровичем. Федор Михайлович приветливо ответил на мой поклон. Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твердо, держался прямо и высоко нес свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шел сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке; ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик... Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживает Достоевского...»<sup>128</sup>.

Такая разительная перемена была связана не только с быстро прогрессирующей болезнью Достоевского, но и с его изнурительной работой над последним романом.

8 ноября 1880 года, отсылая в журнал «Русский вестник» эпилог «Братьев Карамазовых», Достоевский писал редактору журнала Н. А. Любимову: «Ну, вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута».

Таким образом, по свидетельству самого писателя, начало работы над одним из величайших романов мировой литературы восходит к концу 1877 года. Но три года продолжалась лишь заключительная стадия — художественное воплощение образов и идей. Вынашивал же эти образы и идеи Достоевский всю жизнь. Все пережитое, передуманное и созданное писателем находит свое место в этом сочинении.

Сложный человеческий мир его вбирает в себя многие

философские и художественные элементы предшествующих произведений Достоевского: линия старика Покровского из самого первого произведения писателя «Бедные люди» переходит в линию штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых», мотив раздвоения личности (Иван Карамазов и черт) восходит к юношеской повести «Двойник», основная идея «Легенды о Великом Инквизиторе» вырастает из ранней повести «Хозяйка», старцу Зосиме предшествует святитель Тихон в «Бесах», Алеше — князь Мышкин в «Идиоте», Ивану — Раскольников в «Преступлении и наказании», Смердякову — лакей Видоплясов в повести «Село Степанчиково и его обитатели», Грушеньке и Катерине Ивановне — Настасья Филипповна и Аглая в «Идиоте».

28 июля 1879 года, когда роман уже печатался, Достоевский отметил в письме к публицисту В. Ф. Пуцковичу: «...никогда ни на какое сочинение мое не смотрел я серьезнее, чем на это».

Непосредственным предшественником «Братьев Карамазовых», можно даже сказать — творческой лабораторией, явился «Дневник писателя», в нем Достоевский копил и анализировал факты, наблюдения, размышления и заметки для своего последнего творения. Но только когда замысел «Братьев Карамазовых» уже безраздельно завладевает творческим воображением, он сообщает читателям в октябрьском номере «Дневника писателя» за 1877 год свое решение прекратить издание на год или на два, а в последнем, декабрьском выпуске признается, что хочет заняться одной «художественной работой».

Но работа над «Братьями Карамазовыми» была неожиданно прервана трагическим событием в личной жизни писателя: 16 мая 1878 года в трехлетнем возрасте, от припадка эпилепсии, умирает его младший ребенок, любимый сын Алеша. Анна Григорьевна описывает горе писателя: «Федор Михайлович пошел провожать доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтоб было удобнее смотреть его доктору. Я тоже стала на колени рядом с мужем, хотела его спросить, что именно сказал доктор (а он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония), но он знаком запретил мне говорить... И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу»<sup>129</sup>

Любовь Федоровна Достоевская дополняет рассказ матери: «Мы сели в коляску вчетвером — папа, мама, брат Федор и я — и маленький гробик был поставлен между нами. По дороге мы много плакали, гладили маленький белый гроб, покрытый цветами, вспоминали любимые выражения милого малютки. После краткого богослужения в церкви гроб был отнесен на кладбище... Слезы текли по щекам моего отца, он поддерживал плачущую жену. Она не могла оторвать глаз от гробика, медленно исчезающего под землей...»<sup>130</sup>.

Сильно опасаясь, что смерть Алеши фатально отразится на и без того пошатнувшемся здоровье Достоевского, Анна Григорьевна принимает единственно верное решение, чтобы спасти мужа для творчества, чтобы дать ему спокойно создать «Братьев Карамазовых». Она просит философа Владимира Сергеевича Соловьева, очаровавшего писателя и своим личным обаянием, и своими лекциями в Петербурге, уговорить Федора Михайловича поехать вместе с ним в Оптину Пустынь — монастырь под Калугой (по преданию, его основал покаявшийся разбойник Опта); о старце Амвросии из этого монастыря в народе слагались легенды — как о подвижнике, чудотворце и исцелителе.

Расчет Анны Григорьевны оказался абсолютно точным: после поездки в Оптину Пустынь в июне 1878 года и встречи со старцем Амвросием Достоевский вернулся утешенный и с необычайным вдохновением приступил к работе над своим последним произведением. Достоевскому и Анне Григорьевне суждено было пережить это страшное горе — смерть сына Алеши, чтобы «Братья Карамазовы» сделали бессмертными их любовь и муку. Анна Григорьевна сообщает, что в главе «Верующие бабы» Достоевский запечатлел «многие ее сомнения, мысли и даже слова», а в жалобах женщины из народа, потерявшей сына и пришедшей искать утешения у Зосимы (в нем не трудно найти многие черты Амвросия), слышатся собственные голоса Достоевского и Анны Григорьевны: «Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку... И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть, и не подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет во дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только б услышать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто, помню, как, бывало, бежит ко



мне, кричит да смеется, только б я его ножки-то услышала, услышала бы, признала!»

Материнская любовь как бы воскрешает умершего мальчика, а описание смерти Илюшечки и скорби его отца, отставного штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых», в которых чувствуется личная мука Достоевского и Анны Григорьевны, настолько пронзает сердце непреходящей болью, что, кажется, не было в мировой литературе более потрясающего изображения семейного горя.

В дни посещения Оптиной Пустыни, по преданию, существующему среди жителей города Козельска, Достоевский встретился с товарищем юности петрашевцем Н. С. Кашкиным в его имении в деревне Нижние Прыски, которое находилось между Козельском и монастырем.

В атеистических суждениях Ивана Карамазова можно найти и отголоски атеизма Н. С. Кашкина 40-х годов. На одном из вечеров, как следует из следственного дела петрашевцев, Кашкиным была прочитана «речь преступного содержания против бога и общественного устройства, доказывавшая, что страдания человечества гораздо больше провозглашают злобу божию, нежели славу его».

Первые две книги «Братьев Карамазовых» были окончательно готовы в конце октября 1878 года. В январе 1879 года в «Русском вестнике» началось печатание романа «Братья Карамазовы». В ноябрьском номере журнала за 1880 год было закончено печатание последних глав.

«Братья Карамазовы» — не только синтез всего творчества Достоевского, но и завершение всей его жизни. Даже в самой топографии романа воспоминания детства соединяются с впечатлениями последних лет: город, в котором происходит действие романа, отражает облик Старой Руссы, а окружающие его деревни (Чермашня, Мокрое) связаны с имением отца Даровое в Тульской губернии.

Дмитрий, Иван и Алеша Карамазовы — три этапа биографического и духовного пути самого Достоевского. Дочь писателя утверждает, что Иван Карамазов, «по преданию в нашей семье, является портретом Достоевского в его ранней молодости. Имеется также определенное сходство между моим отцом и Дмитрием Карамазовым, который представляет собой, возможно, второй период в жизни Достоевского, а именно время между заключением и его длительным пребыванием в Европе после его второй женитьбы. Дмитрий похож на моего отца своим шиллеровским сентиментализмом и романтическим характером, а также наивностью в своих отношениях с женщинами... Но наибольшее совпадение с Дмитрием появляется во время ареста, допро-

са и осуждения Дмитрия Карамазова Достоевский, вероятно, уделил потому так много места этому осуждению, чтобы описать страдания, которые он пережил во время процесса петрашевцев и которые никогда не смог забыть.

Некоторое сходство существует также между Достоевским и старцем Зосимой. Его автобиография является, в сущности, биографией моего отца, во всяком случае в той части, которая относится к детству. Мой отец помещает Зосиму в провинцию и в более скромную обстановку, чем была его собственная, и пишет его автобиографию своеобразным, несколько старомодным языком, на котором говорят наши священники и монахи. Но, несмотря на это, там можно найти все главные факты из детства Достоевского: его любовь к своей матери и своему старшему брату впечатление, произведенное на него богослужением, на котором он присутствовал в детстве,.. его отъезд в военную школу в столице, где его, по рассказу старца Зосимы, обучали французскому и манерам поведения в обществе, но одновременно привили также так много фальшивых взглядов...»<sup>131</sup>.

Роман «Братья Карамазовы» — это духовная биография Достоевского, его идейный и жизненный путь от атеизма в кружке петрашевцев (Иван Карамазов) до верующего человека (Алеша Карамазов). Но, как и всегда у Достоевского, его творческая и жизненная биография становится историей человеческой личности вообще, вселенской и всечеловеческой судьбой. Дмитрий, Иван и Алеша имеют не только один родовой корень (общий отец Федор Павлович Карамазов), но у них и духовное единство: одна трагедия и общая вина за нее. Все они несут ответственность за убийство Смердяковым их отца.

Однако Достоевский связывает разложение феодально-крепостнической России и рост революционного движения с безверием и атеизмом. Вот почему, считает писатель, главный виновник убийства отца Иван Карамазов. Это он проповедовал, что бога нет, а Смердяков отсюда сделал вывод: если бога нет, то все позволено. Но и Дмитрий со своими безудержными страстями, и даже «человек божий» Алеша тоже виноваты в смерти отца: Иван и Дмитрий виноваты активно, Алеша полусознательно, пассивно. Алеша знал, что готовится преступление, и допустил все же его, мог спасти отца и не спас. Общее преступление братьев влечет за собой и общее наказание: Дмитрий искупает свою вину ссылкой на каторгу, Иван — распадом личности, Алеша — тяжелейшим нравственным кризисом. В итоге все три брата через страдание возрождаются к новой жизни.

Но нравственная идея романа, борьба веры с неверием («дьявол с богом борется, и поле битвы — сердца людей», — говорит Дмитрий Карамазов), Ивана и Алеши (на вопрос Федора Павловича Карамазова: «Есть бог или нет?») — Иван отвечает: «Нет, нету бога», а Алеша: «Есть бог») выходит за пределы семейства Карамазовых. Отрицание Иваном бога порождает зловещую фигуру Инквизитора. В романе «Братья Карамазовы» органически появляется «Легенда о Великом Инквизиторе» Ивана Карамазова — величайшее создание Достоевского, вершина его творчества.

Христос снова приходит на землю. На этот раз он появляется в Севилье, в самое страшное время инквизиции «Легенда о Великом Инквизиторе» имеет антикатолический характер<sup>132</sup>. Но она же свидетельствует о том, что Достоевский прекрасно видел разницу между католичеством и православием — и их воплощением в официальной государственности. В западной теократической идее писатель видел торжество «римской идеи» языческой империи, идеи, стремящейся к всемирному объединению людей насильем. Эту же «римскую идею» Достоевский усматривал в атеистическом социализме и видел в ней изначальный порок гордого западного духа.

Христос появляется среди толпы, и народ узнает его. Он весь излучает свет, простирает руки, благословляет, творит чудеса. Великий Инквизитор, «девяностолетний старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом и впалыми глазами», велит страже заключить его в тюрьму. Ночью он приходит к своему пленнику, «останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его». Потом начинает говорить. «Легенда» — монолог Великого Инквизитора, а Христос в продолжение всего монолога остается безмолвным. Весь длинный монолог Великого Инквизитора направлен против Христа и его учения, но, обвиняя его, он тем самым оправдывает свою измену Христу.

Великий Инквизитор кончил свой монолог, но его пленник по-прежнему молчит. «Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные, девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его: он идет к двери, отворяет ее и говорит ему слова, которые страшнее даже голгофских гвоздей: «Ступай, ступай и не приходи более. Не приходи вовсе... Никогда! никогда!»

Иван кончил рассказывать Алеше легенду о Великом Инквизиторе, и Алеша разгадал, понял «тайну» Великого

Инквизитора: «Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет». Великий Инквизитор не понимал, что молчание Христа и есть лучшее опровержение всех его аргументов. Ему не надо оправдываться, так как все доводы Великого Инквизитора опровергнуты одним его присутствием, самим фактом его появления.

Но в поцелуе Христом Великого Инквизитора есть правда и есть ложь. В нем Достоевский, и в нем — Иван Карамазов. Правда этого поцелуя в том, что Христос любит любого человека, в том числе и того, кто не любит его и не хочет любить. Христос грешников пришел спасти. И человечество нуждается для своего спасения именно в такой высшей любви, как самый больной ребенок нуждается в самой большой материнской любви. Поцелуй Христа и есть такой призыв высочайшей любви, последний призыв грешников к покаянию! В этом идея самого Достоевского. Однако поцелуй является также и произведением Ивана Карамазова: он заставил истину поцеловать ложь. Но вся «Легенда» — всю жизнь волновавшая писателя его заветная тема о страданиях и счастье человечества.

Однако Достоевский нарисовал в своем последнем романе такую страшную картину разложения феодально-крепостнической России, что даже кроткий и смиренный Алеша Карамазов «бунтует». Достоевский призывал верить в осуществление религиозного идеала, но русская действительность, изображенная им в «Братьях Карамазовых», приводила читателей к другим выводам, порождая в их сознании неразрешимые противоречия.

Еще при жизни писателя появились первые отклики на публикацию «Братьев Карамазовых». «Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха», — писал Достоевский 8 декабря 1879 года.

И все же до самого окончания печатания романа он тревожился о точности его восприятия: «Каждый раз, когда я пишу что-нибудь и пушу в печать, я как в лихорадке, — беспокоится писатель в письме к обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву 16 августа 1880 года. — Не то чтобы я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть дела и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего, тем, что я опубликовал мои заветные убеждения? Тем более, что всегда принужден высказывать иные идеи лишь в основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большем развитии и доказательности»

Только за один 1879 год появилось около 80 откликов о романе в столичной и провинциальной печати. И все же Достоевский не зря тревожился за судьбу романа.

Лишь очень немногие (и, как правило, это были не профессиональные критики и рецензенты) поняли «заветные убеждения» писателя. Например, великий русский художник И. Н. Крамской писал после смерти Достоевского основателю знаменитой картинной галереи в Москве П. М. Третьякову: «Я не знал... какую роль Достоевский играл в Вашем духовном мире, хотя покойный играл роль огромную в жизни каждого (я думаю), для кого жизнь есть глубокая трагедия, а не праздник. После „Карамазовых“ (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси. Казалось, как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого Инквизитора» есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным остаться на том месте, где были мы вчера, носить те чувства, которыми мы питались... Достоевский действительно был нашею общественною совестью!»

Литературные же критики и рецензенты, споря в основном об идеологии Достоевского в «Братьях Карамазовых», не только не поняли его «заветные убеждения», но и не смогли по достоинству оценить художественное новаторство писателя.

7 мая 1880 года Достоевский последний раз приезжает в Старую Руссу. Он оставляет суетный и шумный Петербург, где ему не дают возможности сосредоточиться, чтобы в Старой Руссе обдумать и написать свою знаменитую речь о Пушкине, свое завещание.

## ЗАВЕЩАНИЕ

Несомненно, само по себе открытие памятника Пушкину в Москве в июне 1880 года было незаурядным событием в истории русской культуры. Но речь Достоевского сделала это открытие выдающимся, грандиозным событием в истории не только русской, но и мировой культуры.

Речь о поэте — плод сорокалетних размышлений Достоевского о творчестве великого русского поэта. В Пушкине Достоевский всегда искал разгадку судьбы и назначения России. В речи на открытии памятника Достоевский облек свои заветные мысли и упования в блестящую художественную форму. Красноречие оратора соединилось в ней с проникновенным пафосом пророка.

В появлении поэта, говорил Достоевский, для всех русских есть нечто бесспорно пророческое. «Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом!»

Поэт, продолжал Достоевский, первым в Алеко и Онегине изобразил «исторического русского страдальца», оторванного от родной земли, тоскующего и страдающего. Пушкин же подсказал и русское решение этого «проклятого вопроса»: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве».

Оторвавшемуся от народной почвы гордому страдальцу Онегину поэт противопоставил Татьяну, русскую женщину, «тип положительной красоты». «Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторяется в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева».

Достоевский первый дал нравственное объяснение поступку Татьяны: «А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого?... Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье... Скажите,

могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокой душой, с ее сердцем, столько пострадавшим?»

Определив нашу болезнь, говорил Достоевский, Пушкин дал нам и великое утешение: «Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда на русского человека... И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединился так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин».

Ни один мировой гений не обладал пушкинской способностью к выражению дум общечеловеческих. «...В европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспиров, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такой способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем он и народный поэт...

Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, *всечеловеком*...»

В заключение Достоевский воскликнул: «Смирись, гордый человек!» В этом контексте писатель подчеркивал не слово «человек», а слово «гордый». Достоевский завещал миру: «Воспрянь, духовный человек, и преобрази самого себя. Только так ты преобразишь мир!»

В зале Дворянского собрания, где произнес свою речь Достоевский, творилось что-то неопишное. После его речи исступленный восторг и всеобщее ликование охватили слушателей. По единодушному свидетельству современников, выступление писателя произвело потрясающее впечатление. «Раздавшиеся рукоплескания и крики не были обычным бурным одобрением великому артисту, — вспоминал близкий знакомый Л. Н. Толстого Д. А. Олсуфьев, семнадцатилетним юношей слушавший «пушкинскую речь» Достоевского, — но как бы общей единодушной «осанной», прозвучавшей со всех концов зала во славу *великого учителя*... Да! Это был, по общему признанию, незабываемый момент в истории русской общественности!..»<sup>133</sup>

Вернувшись из Дворянского собрания в гостиницу, Достоевский в письме жене подробно описал свой триумф: «Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои, ничто, *нуль* сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне

долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать, — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (все от Карамазовых!). Наконец, я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Все, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом... Когда я провозгласил о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди, незнакомые между собой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — все это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня, и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками; вдруг, например, останавливают меня, два незнакомые старика: „Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!“ „Пророк, пророк!“ — кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. „Вы гений, вы более, чем гений!“ — говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — есть не просто речь, а историческое событие! Туча облагала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. Да, да! закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из зала все, а главное, женщины. Целовали мне руки, мучили меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество любителей российской словесности единогласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что все сказано и все разрешило великое слово нашего гения — Достоевского. Однако мы все заставили его читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой.



В этот час времени успели купить богатый, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: „За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!“ Все плакали, опять энтузиазм. Городской голова Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. — Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже умру...»

Вечером на литературном празднике Достоевский читает стихотворение Пушкина «Пророк». Смертельно усталый, он напрягает до крика свой слабый и глухой голос. Снова зала в «истерике», снова «воплъ восторга». Вся читающая Россия венчает своего «пророка».

Но, как и всегда, — наивность и простодушие гения. Писатель искренно не понимает, почему его речь стала триумфом и почему праздник, организованный для чествования Пушкина, превратился в настоящий праздник чествования Достоевского. Детский писатель А. Сливичкий, доставивший Достоевскому в гостиницу лавровый венок сразу же после его речи, вспоминает: «Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и видимо утомлен, что я решил по возможности сократить свой визит. Как сейчас вижу, как он, вертя в руках небольшую тетрадку почтовой бумаги, в которой бегло и не без помарок была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: «Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал...»<sup>134</sup>.

В ту же ночь Достоевский, преодолевая смертельную усталость, поехал к памятнику Пушкину и положил поднесенный ему венок к ногам своего учителя.

Пушкинская речь Достоевского была его лебединой песней, его духовным завещанием, последним лучом его столь поздней славы: ему оставалось жить чуть больше семи месяцев.

Дочь писателя пишет в немецком издании своей книги «Достоевский в изображении его дочери»: «...Достоевский надеялся, что сможет пройти курс лечения в сентябре, но потом отказался от своей поездки за границу, так как был утомлен волнениями, связанными с его триумфом и политической борьбой. Он думал, что сможет обойтись один год без Эмса. Ах, он не предполагал, насколько был уже подорван его бедный организм! Его железная воля, идеал, горевший в его сердце и наполнявший его воодушевлением, ввели его в заблуждение в отношении своих физических сил; на самом деле, физические силы его всегда были незаметными...»<sup>135</sup>.

Но это не совсем точно. Достоевский не заблуждался «в отношении своих физических сил»: он знал, что эмфизема легких быстро прогрессирует и может при любом напряжении организма угрожать жизни. Знала об этом и Анна Григорьевна (ей сказал об этом ее родственник, доктор М. Н. Сниткин, осмотревший по ее просьбе мужа в конце 1879 года), хотя и не предполагала столь быстрого, а потому и несколько неожиданного для нее конца.

Может быть, если бы Достоевский не поехал на Пушкинский праздник, а спокойно отдыхал в кругу любимой семьи в Старой Руссе, то он бы продлил себе жизнь еще на пару лет, и Анна Григорьевна тоже это чувствовала, так как предвидела заранее, что в Москве его ждут «тревожные дни». Но она не препятствовала поездке мужа на открытие памятника Пушкину в Москве. Переписывая речь Достоевского в старорусской тиши, она поняла, что эта речь действительно его духовное завещание, что ради этой речи он, может быть, и творил всю жизнь и всю жизнь ждал этой минуты. И предчувствия снова не обманули ее. «Искренняя радость при мысли, что наконец-то Россия поняла и оценила высокое значение гениального Пушкина,— вспоминала Анна Григорьевна,— и воздвигла ему в «сердце России», Москве,— памятник; радостное сознание, что он, с юных лет восторженный почитатель великого народного поэта, имел возможность своею речью воздать ему дань своего поклонения; наконец, упоение от восторженных, относившихся к его личному дарованию, оваций публики,— все соединилось для того, чтобы создать для Федора Михайловича, как он выразился, «минуты величайшего счастья». Рассказывая мне о своих тогдашних впечатлениях, Федор Михайлович имел вдохновенный вид, как бы вновь переживая эти незабываемые минуты»<sup>136</sup>.

Однако когда речь Достоевского была напечатана, она вызвала резкие возражения представителей либерально-демократического лагеря, выступивших прежде всего против «единства» русского общества на христианской основе. С развернутой критикой Пушкинской речи Достоевского выступил в газете «Голос» (1880, 25 июня) в статье «Мечты и действительность» известный критик, профессор Петербургского университета Александр Дмитриевич Градовский (1841—1889).

Вместо мессианского возвеличения русского народа до роли творца «окончательной гармонии»,— возражал Достоевскому А. Д. Градовский,— «правильнее было бы сказать и современным „скитальцам“ и „народу“ одинаково: *смиритесь* перед требованиями той общечеловеческой граж-

данственности, к которой вы, слава богу, приобщились благодаря реформе Петра...»

Достоевский в ответе А. Д. Градовскому в «Дневнике писателя» («Единственный выпуск на 1880 год, август») резко отверг либеральную программу профессора, высмеяв его «западнические представления» о народе.

Наступает 1881 год. Наконец-то, исключительно благодаря Анне Григорьевне, Достоевский избавился от долгов брата по журналам «Время» и «Эпоха», которые он честно выплачивал с 1865 года. М. Н. Катков оставался еще должен за «Братьев Карамазовы» около пяти тысяч рублей. Казалось, можно было отдохнуть после изнурительной трехлетней работы над гениальным романом мировой литературы.

Но разве Достоевский может отдыхать, быть сторонним наблюдателем, когда речь идет о самом дорогом и святом для него — о судьбе России. И Достоевский берется снова за выпуск «Дневника писателя», ежемесячный выпуск которого давал ему возможность оперативно и страстно откликаться на все животрепещущие и тревожащие вопросы современности.

Последний выпуск «Дневника писателя» за январь 1881 года, в котором Достоевский решил высказаться по поводу очередного Земского собора, исполнен жгучей тревоги писателя за будущее историческое развитие России, народа: «Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажда нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь... И вот что главное: народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно «начальство»...»

Высказал здесь Достоевский и свою утопическую мечту о депутации «серых зипунов», призванных преобразить в демократическом духе институт земства и спасти Россию. Одновременно Достоевский нарисовал такую широкую картину разложения всего русского общества, что, боясь, очевидно, за судьбу январского выпуска, просил начальника Главного управления по делам печати Н. С. Абазу переменить для «Дневника писателя» цензора.

Достоевский, как и всегда, полон грандиозных творческих планов: два года он решает издавать «Дневник писателя», а затем приняться за продолжение «Братьев Ка-

рамазовых». В двух новых книгах романа будут почти те же действующие лица, но уже через двадцать лет, в современную эпоху, и любимый Алеша Карамазов станет главным героем.

Почти весь январь 1881 года Достоевский чувствовал себя хорошо. Припадки эпилепсии уже несколько месяцев не мучили его, и он решил принять участие в домашнем спектакле у С. А. Толстой в роли схимника в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого. Казалось, ничто не предвещало беды...

О последних днях, часах и минутах жизни Достоевского свидетельствует Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях» и в своей записной книжке 1881 года. В ночь с 25 на 26 января 1881 года, когда писатель отодвинул тяжелую этажерку, чтобы найти вставку с пером, у него пошла кровь горлом. Кровотечение скоро приостановилось и, возможно, больше не повторилось бы, если бы не приезд на следующий день сестры Достоевского Веры Михайловны Ивановой.

По особому распоряжению о земельном имуществе тетки писателя А. Ф. Куманиной, скончавшейся в 1871 году, Достоевский в январе 1881 года был введен во владение частью ее рязанского имения. 26 января 1881 года сестра писателя Вера Михайловна Иванова обратилась к нему с просьбой отказаться в пользу сестер от своей доли в доставшемся ему по наследству имению. По воспоминаниям дочери писателя, между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве. Достоевский не хотел отказываться от рязанского имения, зная, что у него подрастают дети. Через 35 лет Анна Григорьевна говорила писателю А. Измайлову, что, освободившись за год до смерти от долгов, Достоевский «мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками в политической жизни Родины»<sup>137</sup>. Но особенно потрясло Достоевского, что об этом с ним приехала говорить его любимая сестра, у которой к тому же уже было свое имение в Даровом.

Нервный, тяжелый и неприятный разговор с В. М. Ивановой, вызвавший у Достоевского новое, на этот раз очень сильное и долгое кровотечение, явился главной причиной, ускорившей смерть писателя<sup>138</sup>.

Рано утром в день смерти Достоевский разбудил жену. «Знаешь, Аня,— сказал Федор Михайлович полушепотом,— я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру»<sup>139</sup>. Анна Григорьевна уверяет мужа, что он будет жить, но он прерывает ее: «Нет,

я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!»<sup>140</sup>. Это было Евангелие, подаренное Достоевскому 30 лет назад в Тобольске женами декабристов по дороге в омскую каторгу. В трудные минуты жизни Достоевский любил открыть это Евангелие наугад и прочитывал то, что открывалось на левой странице.

Он открыл Евангелие, но прочесть уже не было сил. И Анна Григорьевна прочла (открылась третья глава от Матфея): «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Ты слышишь — «не удерживай» — значит, я умру,— сказал муж и прибавил: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда»<sup>141</sup>.

Достоевский позвал детей и «говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им»<sup>142</sup>.

Анна Григорьевна весь день ни на минуту не отходила от умирающего. Он держит ее руку в своей и шепчет: «Бедная... дорогая, с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!..»<sup>143</sup>.

28 января 1881 года в 8 часов 38 минут вечера Достоевский скончался.

Смерть писателя переживалась каждым русским человеком как национальный траур и личное горе.

В 11 часов утра 31 января 1881 года начался вынос тела Достоевского из его квартиры по Кузнечному переулку на кладбище Александро-Невской лавры. Вечером того же дня будущий знаменитый физиолог И. П. Павлов писал своей невесте: «Процессия из квартиры по Невскому прошла в Александро-Невскую лавру, где гроб будет стоять до завтра, когда произойдет погребение. Шли целых три часа. Если бы чувствовал все это покойник, остался бы доволен. Его Алеша на последних страницах «Братьев Карамазовых» из смерти Илюшечки сделал высокую нравственную минуту для десятка мальчиков. Сам он своей смертью поднял, возвысил душу всего думающего и чувствующего града Питера»<sup>144</sup>.

Похороны Достоевского превратились в историческое событие: тридцать тысяч народу провожало его гроб, 72 делегации несли венки, 15 хоров участвовало в процессии. Гроб несли Д. В. Григорович, Вл. С. Соловьев, петрашевцы А. Н. Плещеев, А. И. Пальм.

1 февраля 1881 года тело писателя предали земле. Среди тех, кто произнес речь на его могиле, были А. И. Пальм

и Вл. С. Соловьев. Так старые и новые друзья Достоевского благословили в последний путь самого страстного мечтателя о всеобщем братстве и равенстве людей.

В поисках путей счастливого будущего человечества Достоевский, отрицая революционный путь преобразования общества, расходился со своими современниками — революционными демократами. Но обличительный пафос его романов был всегда близок тем, кто думал о счастливом будущем человечества. Мечта о нем постоянно мучила и самого Достоевского. Еще в 1848 году чистой, простодушной Настеньке в «Белых ночах» Достоевский вверяет свою заветную мечту о всемирном братстве: «Зачем мы все не так, как бы братья с братьями?» В последнем гениальном романе Достоевского, «Братья Карамазовы», о всеобщем братстве мечтает старец Зосима, а за полгода до смерти об этом говорил сам Достоевский в своей знаменитой «пушкинской речи» в июне 1880 года (на открытии памятника Пушкину).

Эта мечта озарила романтическим светом молодость Достоевского, свела его с другими мечтателями-петрашевцами, за нее заплатил он десятью годами каторги и ссылки, за нее боролся и ее проповедовал в своих произведениях, в нее верил до своих последних дней.

«Золотой век,— писал Достоевский в 1876 году,— мечта самая невероятная, но за которую люди отдавали всю жизнь и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, но без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть».

## Примечания

<sup>1</sup> Достоевский А. М. Воспоминания.— Л., 1930.— С. 22.

<sup>2</sup> См.: Белов С. В. Вокруг Достоевского // Новый мир.—1985.— № 1 — С. 214.

<sup>3</sup> Достоевский А. М. Воспоминания.—Л.,1930.— С. 94

<sup>4</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 1.— С. 115—116.

<sup>5</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т II.— С. 191.

<sup>6</sup> О дружбе Достоевского и Шидловского см.: Алексеев М П Ранний друг Достоевского.— Одесса, 1921.

<sup>7</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 1.— С. 99.

<sup>8</sup> Достоевский А. М. Воспоминания.— Л., 1930.— С. 71.

<sup>9</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.— СПб., 1883.— Т 1 — С. 42—43.

<sup>10</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 1.— С. 89.

<sup>11</sup> Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери.— М., Пг., 1922.— С. 17.

<sup>12</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.— СПб., 1883.—Т 1 — С. 45.

<sup>13</sup> См.: Якубович И. Д. Достоевский в Главном Инженерном училище // Достоевский. Материалы и исследования.— Л., 1983.— Т 5.— С. 184—185.

<sup>14</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 1.— С. 130, 131, 132.

<sup>15</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 1 — С. 140—141

<sup>16</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 1 — С. 145.

- <sup>17</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.  
Т. 1.— С. 138.
- <sup>18</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— М., 1955.— Т. IX.— С. 565
- <sup>19</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.  
Т. 1.— С. 155.
- <sup>20</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— М., 1955.— Т. X.—  
С. 40—41.
- <sup>21</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.—  
Т. 1.— С. 141.
- <sup>22</sup> Там же.— С. 134—135.
- <sup>23</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.—  
Т. 1.— С. 143.
- <sup>24</sup> Там же.— С. 136.
- <sup>25</sup> Дело петрашевцев.— М.; Л., 1951.— Т. 3.— С. 112.
- <sup>26</sup> Дело петрашевцев.— М.; Л., 1937.— Т. 1.— С. 518.
- <sup>27</sup> Там же.— М.; Л., 1941.— Т. 11.— С. 420.
- <sup>28</sup> Петрашевцы.— М.; Л., 1928.— Т. III.— С. 172.
- <sup>29</sup> Там же.— С. 100
- <sup>30</sup> Дело петрашевцев.— М.; Л., 1951.— Т. III.— С. 113.
- <sup>31</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— М., 1956.— Т. 12.— С. 250.
- <sup>32</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.—  
Т. 1.— С. 229—230.
- <sup>33</sup> Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев.— М.,  
1971.— С. 117.
- <sup>34</sup> Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. [Кн. 1].— М.; Пг.,  
1922.— С. 268—270.
- <sup>35</sup> См.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М.,  
1964.— Т. 1.— С. 172.
- <sup>36</sup> Цвет мундиров жандармов Отдельного корпуса.
- <sup>37</sup> Здесь находилось III отделение.
- <sup>38</sup> Цит. по кн.: Первые русские социалисты: Воспоминания участников  
кружков петрашевцев в Петербурге.— Л., 1984.— С. 150—154.
- <sup>39</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.—  
Т. II.— С. 199.



- <sup>40</sup> Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев М. 1971.— С. 86.
- <sup>41</sup> Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери — М.; Пг., 1922.— С. 25.
- <sup>42</sup> Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев.— М., 1971.— С. 180.
- <sup>43</sup> Литературное наследство.— М., 1956.— Т. 63.— Вып. 3.— С. 188
- <sup>44</sup> Русская старина.— 1881.— № 3.— С. 706—707.
- <sup>45</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.— СПб., 1883.— Т. 1— С. 126—127.
- <sup>46</sup> Францева М. Д. Воспоминания // Исторический вестник.— 1886.— № 6.— С. 628—630.
- <sup>47</sup> Гроссман Л. П. Материалы к биографии Ф. М. Достоевского: (Даты и документы) // Достоевский Ф. М. Собр. соч.— М., 1958.— Т. 10.— С. 561.
- <sup>48</sup> Dostojewskaja L. F. Dostojewski, geschildert von seiner Tochter.— München, 1920.— S. 96.
- <sup>49</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т. 1.— С. 243.
- <sup>50</sup> Литературное наследство.— М., 1973.— Т. 86.— С. 549.
- <sup>51</sup> См. об этом: Громыко М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. 1850—1854 гг.— Новосибирск, 1985.
- <sup>52</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т. 2.— С. 199—200.
- <sup>53</sup> Феоктистов Н. Пропавшие письма Достоевского // Сибирские огни.— 1928.— № 2.— С. 124—125.
- <sup>54</sup> Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг.— СПб., 1912.— С. 17.
- <sup>55</sup> Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг.— СПб., 1912.— С. 38.
- <sup>56</sup> Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг.— СПб., 1912. С. 50, 51—52.
- <sup>57</sup> Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.; Л., 1934.— С. 157—158.
- <sup>58</sup> Боборыкин П. Д. За полвека: Воспоминания.— М., 1965.— С. 281.

- <sup>59</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.—СПб., 1883.—Т 1  
С 271
- <sup>60</sup> Бунаков Н. Ф. Записки. 1837—1905. СПб., 1909 С 49—50.
- <sup>61</sup> Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства.—СПб.,  
1890 С. 200
- <sup>62</sup> Герцен А. И. Полн. собр. соч.—М., 1963.—Т 27 — Кн 1  
С 247
- <sup>63</sup> Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1962.—С. 198.
- <sup>64</sup> Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери.—  
М., Пг., 1922.—С. 34—35.
- <sup>65</sup> Гроссман Л. П. Путь Достоевского.—Л., 1924.—С. 154.
- <sup>66</sup> См. Сулова А. П. Годы близости с Достоевским: Дневник —  
повесть — письма.—М., 1928.
- <sup>67</sup> Там же.—С. 48.
- <sup>68</sup> Там же.—С. 57
- <sup>69</sup> Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири  
1854—1856 гг.—СПб., 1912.—С. 216.
- <sup>70</sup> ГПБ, ф. 236, ед. хр. 104.
- <sup>71</sup> Ковалевская С. В. Воспоминания и письма.—М., 1961 —  
С 72, 74, 85, 86.
- <sup>72</sup> Там же.—с. 91.
- <sup>73</sup> Там же.—С. 99.
- <sup>74</sup> Перетц В. Н. Из воспоминаний: Достоевский // Однодневная  
газета Русского библиологического общества.—Пг., 1921.—С. 9—10.
- <sup>75</sup> Ковалевская С. В. Воспоминания и письма.—М., 1961 —  
С 120.
- <sup>76</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.—М., 1981.—С. 101.
- <sup>77</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.—М., 1964.—  
Т 1 — С. 363, 364.
- <sup>78</sup> Там же.—С. 377.
- <sup>79</sup> Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства.—СПб.,  
1890.—С. 231.
- <sup>80</sup> См.: Ковригина З. С. Последние месяцы жизни А. Г. Достоев-  
ской // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы.—Л., 1924.—Сб., 2.—  
С 584

<sup>81</sup> См. подробнее: Белов С. В. Жена писателя: Последняя любовь Ф. М. Достоевского.— М., 1986.

<sup>82</sup> Достоевская А. Г. Первая встреча / Публикация С. В. Белова.— Неделя.—1971— № 38.

<sup>83</sup> ИРЛИ, 30773 / ССХІХ б. 3.

<sup>84</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981— С. 91

<sup>85</sup> Кони А. Ф. Собр. соч.— М., 1968.— Т. 6.— С. 450.

<sup>86</sup> Там же.— С. 431

<sup>87</sup> См.: Достоевская А. Г. Нитка / Публикация С. В. Белова // Дальний Восток.—1971.— № 11.— С. 131—135.

<sup>88</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 165.

<sup>89</sup> Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому.— М., Пг, 1923.— С. 59.

<sup>90</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 197—198.

<sup>91</sup> Там же.— С. 190—191

<sup>92</sup> См. об этом: Трифонов Ю. Загадка и провидение Достоевского // Новый мир.— 1981— № 11.— С. 239—244.

<sup>93</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— С. 207.

<sup>94</sup> Стравинский Игорь. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии.— Л., 1971.— С. 32.

<sup>95</sup> Мещерский В. П. Мои воспоминания.— СПб., 1898.— Ч. 2 (1865—1881)— С. 175.

<sup>96</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т. 2.— С. 126.

<sup>96-а</sup> Там же.— С. 189.

<sup>97</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 276—277

<sup>98</sup> См.: Жаворонков А. З., Белов С. В. Дело об отставном подпоручике Федоре Достоевском // Русская литература.— 1963.— № 4.— С. 199.

<sup>99</sup> ИРЛИ, 29629 / ССХІ62.

<sup>100</sup> Лит. газ.— 1971.—11 августа.— № 33.

<sup>101</sup> Цит: Толстяков А. «Мысль и труд» синьоры Александры // В мире книг — 1974.— № 12.— С. 86.

<sup>102</sup> ИРЛИ, 29784 / ССІ68.

- <sup>103</sup> Маслянин К. Эпизод из жизни Ф. Достоевского // Новое время.— 1882.— 13(25) октября.
- <sup>104</sup> Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916.— Пг., 1916. Т 2.— С. 1461—1462.
- <sup>105</sup> ИРЛИ, ф. 100, № 29645.
- <sup>106</sup> Либрович С. Ф. На книжном посту.— Пг., М., 1916.— С. 42.
- <sup>107</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 2.— С. 328.
- <sup>108</sup> Достоевский. Материалы и исследования.— Л., 1980.— Т. 4.— С. 275.
- <sup>109</sup> Лит. наследство.— М., 1973.— Т. 86.— С. 496.
- <sup>110</sup> О народовольческом фоне в жизни Достоевского подробно писал И. Волгин в своей книге «Последний год Достоевского» (М., 1986).
- <sup>111</sup> Л. Ф. Достоевская об отце/Публикация С. В. Белова//Литературное наследство.— М., 1973.— Т. 86.— С. 307
- <sup>112</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981.— С. 304.
- <sup>113</sup> Там же.— С. 356.
- <sup>114</sup> Там же.— С. 357.
- <sup>115</sup> Тыркова А. Анна Павловна Философова и ее время.— П., 1915.— С. 326.
- <sup>116</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 2.— С. 326
- <sup>117</sup> См.: Альтман М. Еще об одном прототипе Федора Павловича Карамазова // Вопросы литературы.— 1970.— № 3.— С. 252—254.
- <sup>118</sup> См.: Dostojewskaja L. F. Dostojewski, geschildert von seiner Tochter.— München, 1920.— S. 251
- <sup>119</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т 2.— С. 209.
- <sup>120</sup> Стахеев Д. И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний) // Исторический вестник.— 1907.— № 1.— С. 85.
- <sup>121</sup> Павлова С. В. Из воспоминаний // Новый мир.— 1946.— № 3.— С. 116.
- <sup>122</sup> См.: Белов С. В. Вокруг Достоевского // Новый мир.— 1985.— № 1 — С. 212.
- <sup>123</sup> Аксенов В. Н. Дом ветеранов сцены.— Л., 1937.— С. 14—15.

<sup>124</sup> Александров А. Федор Михайлович Достоевский (Страничка из воспоминаний) // Светоч и Дневник писателя.— 1913.— № 1 С. 54—55.

<sup>125</sup> См.: Белов С. В. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Нева 1985.— № 1.— С. 207

<sup>126</sup> Кузнецов П. Г. Служба у Достоевского / Публикация С. В. Белова // Книж. торговля.— 1964.— № 5.— С. 40—41.

<sup>127</sup> Попов И. И. Минувшее и пережитое.— М.; Л., 1933.— С. 87

<sup>128</sup> Там же.— С. 88.

<sup>129</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 327

<sup>130</sup> Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери М.; Пг., 1922.— С. 79.

<sup>131</sup> Dostojewskaja L. F. Dostojewski, geschildert von seiner Tochter.— München, 1920.— S. 248, 249.

<sup>132</sup> См.: Евнин Ф. Достоевский и воинствующий католицизм 1860—1870-х годов (К генезису «Легенды о Великом Инквизиторе») // Русская литература.— 1967.— № 1.— С. 29—42.

<sup>133</sup> Белов С. В. Вокруг Достоевского // Новый мир.— 1985.— № 1 — С. 215.

<sup>134</sup> См.: Памяти Л. И. Поливанова (К 10-летию его кончины) — М., 1909.— С. 89.

<sup>135</sup> Dostojewskaja L. F. Dostojewski, geschildert von seiner Tochter.— München, 1920.— S. 291.

<sup>136</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 366.

<sup>137</sup> Измайлов А. У А. Г. Достоевской // Биржевые ведомости.— 1916.— 28 января.

<sup>138</sup> См. об этом подробнее в кн.: Белов С. В. Жена писателя: Последняя любовь Достоевского.— М., 1986.

<sup>139</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 375.

<sup>140</sup> Там же.

<sup>141</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 375—376.

<sup>142</sup> Суворин А. С. О покойном // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.— М., 1964.— Т. 2.— С. 416.

<sup>143</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания.— М., 1981.— С. 377

<sup>144</sup> Письма Павлова к невесте // Москва.— 1959.— № 10.— С. 176.

## *Литература о жизни Достоевского*

### **I. Воспоминания и переписка современников**

Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 г. — СПб., 1912.

Дипломат, юрист и археолог барон Александр Егорович Врангель (1833—1915) рассказывает о встречах с Достоевским в Семипалатинске, о своей дружбе с писателем, о его первой большой любви — М. Д. Исаевой.

Григорович Д. В. Литературные воспоминания — М., 1961

Глава о Достоевском из «Литературных воспоминаний» писателя Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1899), товарища Достоевского по Инженерному училищу, жившего с ним в 1844—1845 гг. на одной петербургской квартире, содержит важный материал для биографии молодого Достоевского.

Достоевская А. Г. Воспоминания / Вступ. ст., подготовка текста и примеч. С. В. Белова и В. А. Туниманова — М., 1971, М., 1981 — 2-е изд., М., 1987 — 3-е изд.

Воспоминания второй жены писателя Анны Григорьевны Достоевской (1846—1918) охватывают период с 1866 по 1881 г.

Достоевская А. Г. Дневник 1867 г. — М., 1923.

Рассказ о жизни с писателем за границей в 1867 г. Дополнением к этому изданию является публикация: Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской / Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошешманской; Подготовка текста к печати, вступ. ст. и примеч. С. В. Житомирской // Литературное наследство: Достоевский Ф. М. Новые материалы и исследования — Т. 86. М. 1973. С. 155—290.

Достоевская Л Ф Достоевский в изображении его дочери  
Пер с нем Л Я Круковской / Под ред. и предисл А Г Горнфельда  
М., Пг., 1922.

Сокращенный перевод (более чем наполовину) книги  
«Dostojewski, geschildert von Tochter» (München, 1920) Любви Федоровны Достоевской  
(1869—1926) Не всегда точное обхождение с фактами, излишняя тенденциозность — основной недостаток книги Л. Ф. Достоевской — и в этом коренное отличие воспоминаний дочери от мемуаров А. Г. Достоевской, основанных на строго документальной и фактической основе.

Достоевский А М. Воспоминания / Под ред., вступ ст и примеч  
А. А. Достоевского Л., 1930

Мемуары младшего брата писателя, инженера Андрея Михайловича Достоевского (1825—1897), подготовленные к печати его сыном А. А. Достоевским, охватывают период с 1825 по 1871 г и являются, по существу, единственным и самым полным источником, содержащим сведения о детских годах Достоевского.

Ф М. Достоевский в воспоминаниях современников. Сборник / Сост  
А. С. Долинин. Т 1—2.— М., 1964.

Т 1 Детство, отрочество, юность. Рождение писателя. Среди петрашевцев. Катастрофа. Сибирь. К первой вершине. Авторы: П. В. Анненков, Д. Д. Ахшарумов, П. И. Вейнберг, А. Е. Врангель, Д. В. Григорович, А. М. Достоевский, М. А. Иванова, С. В. Ковалевская, П. М. Ковалевский, П. К. Мартыанов, А. П. Милюков, А. Я. Панаева, А. Е. Ризенкамф, А. И. Савельев, П. П. Семенов-Тянь-Шанский, В. А. Соллогуб, Н. Н. Страх, К. А. Труговский, Н. Фон-Фохт, Н. Г. Чернышевский, С. Д. Яновский.

Т 2. Во власти противоречий. К последней вершине. Памятник Пушкину Последний год жизни. Болезнь. Смерть. Похороны Авторы: М. А. Александров, Х. Д. Алчевская, А. Г. Достоевская, М. В. Каменецкая, В. Г. Короленко, Е. П. Леткова-Султанова, Д. Н. Любимов, М. А. Поливанова, И. И. Попов, А. М. Сливицкий, Вс. С. Соловьев, Н. Н. Страх, А. С. Суворин, В. В. Тимофеева (О Починковская), Г. И. Успенский, А. П. Философова, Е. А. Штакеншнейдер

Достоевский в неизданной переписке современников (1837—1881) / Публикация, вступ. ст. и коммент. Л. Р. Ланского // Литературное наследство: Ф. М. Достоевский, Новые материалы и исследования.— Т. 86.— М., 1973.— С. 349—566.

Ковалевская С. В. Воспоминания и письма / Под ред. и коммент С. Штрайха.— 2-е изд., исправл.— М., 1961

Выдающийся русский математик, доктор философии, магистр изящных искусств Софья Васильевна Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская) (1850—1891) рассказывает об истории любви Достоевского к ее родной сестре Анне Васильевне Корвин-Круковской (1843—1887), а также о своей детской влюбленности в писателя.

Кони А. Ф. Воспоминания о писателях.— Л., 1965; М., 1989.

Воспоминания знаменитого судебного и общественного деятеля России Анатолия Федоровича Кони (1844—1927), неоднократно встречавшегося с Достоевским в 1870-е гг.

Микулич В. [Л. И. Веселитская]. Встречи с писателями (Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Лесков, Вс. Гаршин) — Л., 1929.

Писательница Лидия Ивановна Веселитская (литературный псевдоним «Микулич») (1857—1936) рассказывает о встречах с Достоевским в конце 1870-х гг.

Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства.— СПб., 1890.

Писатель, историк литературы и педагог Александр Петрович Милюков (1817—1896) подробно рассказывает о дружбе с Достоевским с 1848 г. и до самой смерти писателя в 1881 г. Особый интерес вызывают страницы, посвященные участию мемуариста в кружке петрашевцев.

Суслова А. П. Годы близости с Достоевским: Дневник — повесть — письма / Вступ. ст. и примеч. А. С. Долинина.— М., 1928.

Дневник участницы демократического движения Аполлинии Прокофьевны Суловой (1839—1918), близкого друга писателя в первой половине 1860-х гг.



## II. Критика и литературоведение

Алексеев М. П. Ранний друг Ф. М. Достоевского.— Одесса, 1921

Книга об Иване Николаевиче Шидловском (1816—1872), дружба с которым в юности оставила такой неизгладимый след в жизни и творчестве писателя.

Белов С. В. Жена писателя: Последняя любовь Ф. М. Достоевского / Предисл. акад. Д. С. Лихачева.— М., 1986.

Об Анне Григорьевне Достоевской.

Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев.— М., 1971

Бурсов Б. И. Личность Достоевского: Роман-исследование.— Л., 1974.

Волгин И. Последний год Достоевского: Исторические записки.— М., 1986.

Попытка реконструировать последний год жизни писателя в связи с народнической революционной организацией «Народная воля».

Волгин И. Родиться в России: Достоевский и современники: Жизнь в документах // Октябрь, 1989, № 3.— С. 3—70, № 4.— С. 110—167, № 5.— С. 67—148.

Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского 1506—1933 / Предисл. П. М. Зиновьева.— М., 1933.

Фундаментальное исследование по генеалогии рода писателя, включающее целый ряд новых архивных документов и фактов.

Громько М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского 1850—1854 гг.— Новосибирск, 1985.

Гроссман Л. П. Путь Достоевского.— Л., 1924.

I Ранние годы. II Романтизм. III Литературные выступления. IV Утопический социализм. V Годы изгнания. VI Подруги Достоевского. VII На перевале. VIII. Годы скитаний. IX. Последняя эпоха.

Гроссман Л. П. Достоевский на жизненном пути: Вып. I. Молодость Достоевского.— М., 1928.

Гроссман Л П. Жизнь и труды Ф М. Достоевского: Биография в датах и документах.— М., Л., 1935.

Летопись жизни и творчества писателя

Гроссман Л П Ф М. Достоевский.— М., 1962.— (Жизнь замечательных людей), М., 1965.—2-е изд., испр. и доп

Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях и документах / Под ред д-ра филол наук В С. Нечаевой.— М., 1972.

Достоевский Ф М. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф М Достоевского.— СПб., 1883.

Миллер О. Ф Материалы для жизнеописания Ф М. Достоевского; Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском; Письма Ф М. Достоевского к разным лицам.

Кулешов В И Жизнь и творчество Ф М. Достоевского.— М., 1984

Мочульский К. Достоевский: Жизнь и творчество.— Париж, 1947, Париж, 1980.— 2-е изд.

Натова Н А. Ф М. Достоевский в Бад Эмсе.— Frankfurt / Main, 1971

Нечаева В С. В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М Ф Достоевских) — М., 1939.

Письма М. А. и М. Ф Достоевских. Приложение. 1 Послужной список штаб-лекаря М. А. Достоевского; 2. Отношение Каширского земского суда; 3. Запрещения на имения М. Ф Достоевской; 4. Список крестьян Дарового и Черемошни в 1835 г, 5. Описание плана имения Дарового в 1850 г

Нечаева В С. Ранний Достоевский: 1821—1849.— М., 1979.

Рейнус Л. М. Достоевский в Старой Руссе / Предисл. Г М. Фридендера — Л., 1969

Румянцева Э. М. Ф М. Достоевский: Биография писателя: Посobie для учащихся.— Л., 1971

Саруханян Е. Достоевский в Петербурге.— Л., 1970; Л., 1972.— 2-е изд.

Селезнев Ю Достоевский.— М., 1981 — (Жизнь замечательных людей)

Слоним М Л. Три любви Достоевского.— Нью-Йорк, 1953.

М. Д. Исаева, А. П. Суслова, А. Г. Достоевская.

Соловьев (Андреевич) Е. А. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность: Биографический очерк.— СПб., 1912.

Федоров Г. А. «Помещик. Отца убили...», или История одной судьбы. // Новый мир, 1988, № 10.— С. 219—238.

Опровержение версии об убийстве отца писателя. Первоначально: Федоров Г. А. Домыслы и логика фактов // Лит. газета, 1975, 18 июня.

Якушин Н. И. Достоевский в Сибири.— Кемерово, 1960.

## Оглавление

О книге С. В. Белова . . . . .	3
Введение . . . . .	5
Глава первая. Детство и юность . . . . .	10
Глава вторая. «Самая восхитительная минута» . . . . .	27
Глава третья. Петербургский мечтатель . . . . .	35
Глава четвертая. Среди петрашевцев . . . . .	51
Глава пятая. Каторга и ссылка . . . . .	68
Глава шестая. «Живая жизнь» . . . . .	90
Глава седьмая. «Преступление и наказание» . . . . .	113
Глава восьмая. «Буду любить всю жизнь!» . . . . .	126
Глава девятая. Скитания по Европе . . . . .	137
Глава десятая. Снова в России . . . . .	151
Глава одиннадцатая. Последняя вершина . . . . .	167
Глава двенадцатая. Завещание . . . . .	186
Примечания . . . . .	195
Литература о жизни Достоевского . . . . .	202

Учебное издание

**БЕЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

**ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ**

Редактор *В. П. Журавлев*

Оформление художника *М. К. Шевцова*

Художественные редакторы *Н. М. Ременникова, Л. Ф. Малышева*

Технические редакторы *Т. Н. Зыкина, Н. А. Васильева*

Корректор *Н. С. Соболева*

ИБ № 12472

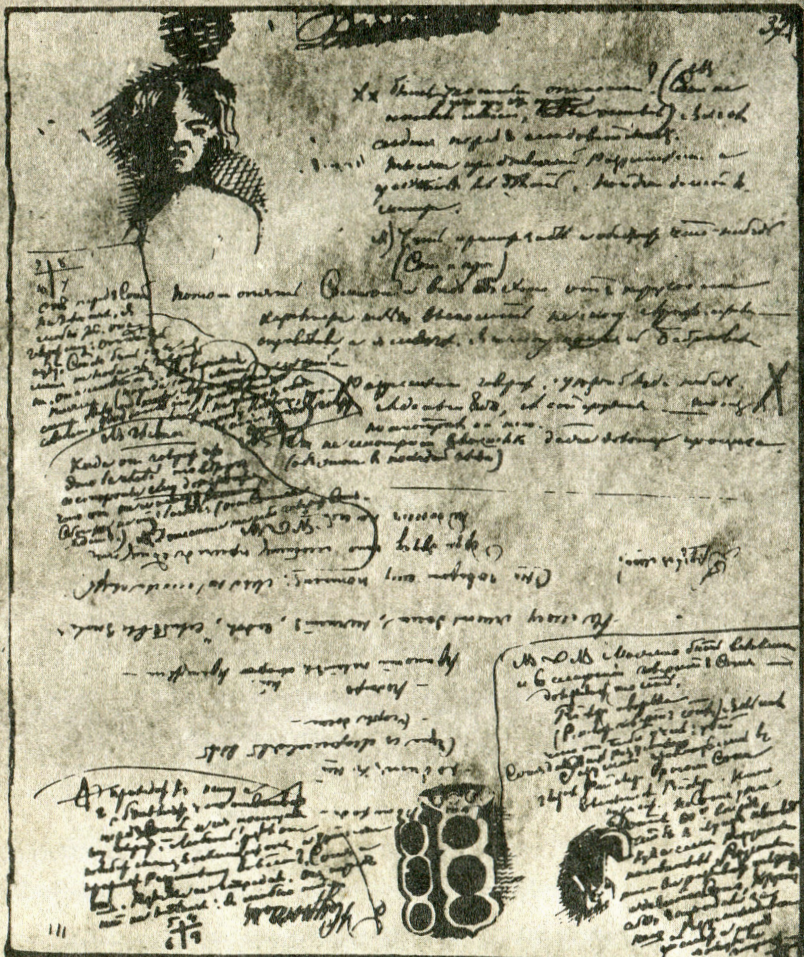
Сдано в набор 08.02.90. Подписано к печати 28.09.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. типографская № 2. Гарнит. литер. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92+0,42 нак.+0,21 форз. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 12,80+0,34 нак.+0,37 форз. Тираж 100 000 экз. Заказ № 137  
Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и массовой информации РСФСР. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.







Я НЕ ХОЧУ МЫСЛИТЬ  
 И ЖИТЬ ИНАЧЕ,  
 КАК С ВЕРОЙ,  
 ЧТО ВСЕ НАШИ  
 ДЕВЯНОСТО МИЛЛИОНОВ РУССКИХ  
 (ИЛИ ТАМ СКОЛЬКО ИХ)

— In, a notebook kept to, small book or  
 - book. number 40  
 Royal Peter. Baruchus. Some of the handwriting  
 —————

Handwritten notes and sketches, including a small portrait of a woman's face.

— ONE handwritten entry mentioning "handwritten notes" and "small book or book".  
 —————  
 One entry to the small book or book:  
 "Handwritten notes" and "small book or book".  
 One entry to the small book or book:  
 "Handwritten notes" and "small book or book".  
 One entry to the small book or book:  
 "Handwritten notes" and "small book or book".  
 One entry to the small book or book:  
 "Handwritten notes" and "small book or book".



ТОГДА НАРОДИТСЯ)  
 БУДУТ ВСЕ,  
 КОГДА-НИБУДЬ, ОБРАЗОВАНЫ,  
 ОЧЕЛОВЕЧЕНЫ И СЧАСТЛИВЫ.

Ф. М. Достоевский

1 р. 10 к.

7215

